



А.Ф.Вельтман
ЛУНАТИК

ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Лунатик: Случай (роман) //Leo, 2017

FB2: , 2017, version 1

UUID: {A13D2889-0461-43F6-B980-CC4040463FE6}

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Александр Фомич Вельтман

Лунатик

Увлекательная приключенческая повесть классика русской литературы Александра Вельтмана.

Содержание

#1.....	0008
ЧАСТЬ I.....	0007
1—∞ год.....	0008
1811 год.....	0011
1812.....	0012
I. 1812 год.....	0014
II.....	0021
III.....	0031
IV.....	0036
V.....	0040
VI.....	0045
VII.....	0055
VIII.....	0060
IX. Повесть тюремного старосты.....	0068
X.....	0083
ЧАСТЬ II.....	0102
I.....	0102
II.....	0116
III.....	0127
IV.....	0130
V.....	0151
VI.....	0159
VII.....	0166
VIII.....	0170
IX.....	0177

Х. 1814 год.....	0181
XI.....	0190
XII. Москва.....	0192
Биография.....	0207
Библиография издания.....	0215

Александр Вельтман
ЛУНАТИК
(Случай)
Роман

**ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ПРИКЛЮЧЕНИЙ**



**ПРИКЛЮЧЕНИЯ • ПУТЕШЕСТВИЯ •
ФАНТАСТИКА**

XXXIV

**Leo
2017**

А. Ф. Вельтман

ЛУНАТИК.

СЛУЧАЙ.

Роман.



ЧАСТЬ I

1—∞ год

Под голубым сводом Вселенной, по пути к бесконечности, катится томная сотрудница солнца, добрая соседка земного шара.

Совершая свой круг, она, как будто влюбленная, не отводит взоров от мира, населенного человеками; лик её вечно обращен к нему, и никто из земнородных не видал её затылка: ни Галилей, ни Исаак Невтон, ни Иоганн Кеплер, ни Эдмонд Галлей, ни Жак-Баптист Рикчиоли....

Она не заботится о том, что люди молятся, прославляют, бранят ее, берут себе в посредницы, сравнивают с её ликом круглые, красные, или бледные лица себе подобных, — делят ее на четверти, узнают по ней ведро и непогоду, называют ночною лампадою, оледеневшим миром, каменной громадою, оторванной от первобытных гор Хаоса, зеркалом, отражающим в себе образ рябой земли...

Не заботится она о том, что люди дерзают

всматриваться в её тайны и думать, что на ней напечатлелось первое злодеяние человека, — что Жиды называют ее образом Лили, первой жены Адама.

Не знает она, что в ней протекают моря: нектарное, облачное, и тихое, ясное, тучное, мрачное, дождливое, — и что поселились на ней души великих ея созерцателей, измерявших её величину, её тяжесть и расстояние от земли, её хребты и вулканы, коих извержение заметно очами человеческими, — её чудные горы, возвышающиеся над поверхностью лунных морей более семи верст, — её пучины и пропасти, в которые Шретер и Гершель опускались и измеряли необычайную глубину, — её реки, широкие как Дарданельский пролив, — её чудные свойства и родство с душами нежными и задумчивыми, — её жителей, которых рост измерен Волфом, и которые полмесяца спят, полмесяца бодрствуют.

Подобно прекрасной деве земного шара, она кротка и смиренна. Настает её день — она начинает постепенно, тихо, сдергивать с себя покрывало; раскроется, посмотрит грустно на земной шар, и снова задернет себя по-

крывалом.

Носится она около него, ходит в след за ним, как рабыня; горячие слезы её летят 2.520.000 верст, падают на землю холодной росой.... Томные её взоры рассыпаются по земному тару, брызжут печальным светом... А он... холодный, мрачный! дремлет... доволен, что баюкает, носит его по пространству, без усталости.

Он слеп, не знает какие на нем творятся чудеса; не ведает что жилец его, человек, считает себя источником добра, а все окружающее его причиною зла.

Виновато Небо, виновато Солнце, виновата Луна, что душа этого жильца земного шара, невесела, что тело страждет, что жизнь есть пучина зол, что все к нему равнодушно, что воздух, окружающий его, заражен таинственным ядом...

1811 год

Под голубым сводом Вселенной, по пути к бесконечности, катится сотрудница Солнца, добрая соседка земного шара, печальная Луна; светит на Москву, также печальную, предчувствующую бедствия, которые навлекает на нее влияние страшной кометы.

Золотой купол Ивана Великого горит, как ночная лампада, как другое светило ночи; золотые главы соборов светятся около него как звезды; зубчатые стены Кремля кажутся литыми, серебряными, и взор ищет на них Ярославны, тоскующей о своем Ладе Игоре, или сторожевой девы, дочери Громобоя. Кремлевские башни, как исполины в чешуйчатой броне, сторожившие вход в очарованный замок, посвечивают своими шлемами, осенённым двуглавыми золотыми орлами.

Улицы опустели. Против обыкновения шум городской утих ранее. Небо ясно; Луна светла; но еще светлее поднялась над горизонтом, предвестница бед, гостья из-за пределов солнечной системы, блистательная Комета. Распустив золотую косу ярких лучей, она,

как Русалка, плыла по волнам эфира, и возмущала собою спокойствие миров, очаровывая их своею красотой и свободой носиться в неограниченных пространствах Вселенной.

1812

На часах Спасской башни натянулись молотки, простучали по колоколам печальный аккорд четвертей. Двенадцать час в исходе.

— По слову клад! — раздался голос Ефрейтора подходящей смены к часовому, стоявшему у ворот.

— Кто идёт — вскричал он.

— Смена, стой!..

— Кому на часы, марш!..

— Стой!..

— Смена марш!..

Новый часовой стал на место старого, который передал ему шопотом приказание.

Отдаленный грохот прокатился по чистому воздуху, вдоль Москвы реки.

— Чу, братцы, пушка гудит! То верно батарея с Французом! — сказал один из солдат.

— Ничто! уж не в первой, — отвечал сме-

ненный. — Страх, братцы, как стукнула полночь, откуда ни возьмись филин... так и ломит!.. сел на башню, да как крикнет!.. так и вздрогнула душа!.. Я чтоб, знаешь, покуражиться, выкинул темп, а из ворот едут двое, шажком, на белых конях. Кто идет? а не едут-то было! — едут себе, ни слова! — Я: раз, два!.. к прикладу — а ружье к ноге!.. Ах, ты Господи!..

— Э! э! э! вскричали прочие солдаты. Да кто же такие проехали? Ты бы крикнул: убью!

— Слышь-ты! иной час и словом подавишься! Сторож часовой говорит, что-то были два Князя из собора, поехали на бой с Французом!

— На лево кругом! скомандовал Ефрейтор, марш! правое плечо вперед! марш!..

— Кто идет! — протяжно вскрикнул новый часовой, чтоб окуражить себя и настроить голос.

I. 1812 год

В огромном доме на площади, между Ильинскими и Никольскими воротами, Луна светила сквозь два окна в небольшую комнатку.

Все украшения комнатки состояли в небольшой кровати, покрытой вязаным одеялом, в столе и двух стульях, в полочке с книгами, в шкапике неизвестно с чем... да на окошке стояла электрическая машина с своими банками, проводниками и прочими снадобьями; да лежала, тут же, большая зрительная труба.

Молодой человек лет двадцати, в синем чекмене, обшитом шнурками, сидел на кровати, облокотясь обеими руками на стол и подперев голову.

Перед ним лежали исписанные бумаги; но не простым письмом, а всеми известными Латинскими буквами, разбежавшимися по листу, для отыскания величины иксов и игрков.

Несколько развернутых книг разных форматов также лежали перед ним. По чертежам

и таблицам можно было заметить, что они относились до Математики, Физики и Астрономии.

Свеча, стоявшая на столе, нагорела и издавала томный свет.

— Да полноте, сударь, читать! — сказал вошедший старик, в гороховом фризovém сюртуке, сняв со свечи.

— Пора почивать, уж за полночь время!.. Далась вам наука!..

Вдали раздалось несколько выстрелов из орудий.

— Чу! — продолжал старик, крестясь, — Господи!.. поговаривают, что добрые люди бегут вон из Москвы, что Француз наступает, а у вас в голове все студенчество!.. Что скажет, батюшка?... Посмотрите-ко на себя — как испитой!.. Барин, а барин!.. соснул!.. ну, Бог с ним! пусть почивает... жалко смотреть!

Старик осторожно склонил голову молодого человека на подушки, потушил свечу, зажег лампаду перед маленьким образом, в углу комнаты, — и вышел!

Время было теплое. Казалось, что Луна, собрав все свои лучи, щедро сыпала их в отво-

ренное окно на молодого человека.

Это был Студент Московского Университета, по физико-математическому отделению.

Кто учился Математике и не знает, что она влечет в сети свои ум юноши, как любовь неопытное сердце? — Это хитрая кокетка, нежная соблазнительница, смотрящая на вас томным, задумчивым взглядом из-под длинных, чудных ресниц; глубокой вздох, кроткая улыбка, сулят вам бессмертную любовь и голубую дружбу, безмолвно зовут вас, куда-то... верно в страну очарований! — Вы за ней, а она — все дальше, дальше от вас, мани и воображение, и надежды ваши в бесконечность, в 0,000000... Вы жаждете, вы алчете, ловите тень, которая ласкает вас взором, улыбкою, вздохом, осыпает вас иксами, играками и зетами.

Аврелий жил в те времена просвещения, когда память отвечала за все, когда ум, не окрылённый воображением, был робок как ребенок, которому, не объясняя причины, запрещают иметь собственные понятия, велят слушать других, имеющих право безотчётно говорить ложь и правду.

Аврелий отличался от товарищей своих красотою, умом и странным характером. Он был молчалив и скромн, и не любил женщин до ненависти. Никто не знал причины.

Никто не говорил ему, что Математика есть начертание путей, по которым стремятся две противоборствующие силы Вселенной, что Парабола есть изображение мысли о бесконечности, что история есть потухающий след существовавших тих поколений; что Поэзия есть олицетворяемое чувство; живопись — отражение видимости; музыка — сохранившиеся звуки первобытного языка людей. Но Аврелий постигал умом и пользу, и таинства наук: и страстно предался наукам, исследующим предвечные законы земли и неба. Дни и ночи просиживал он над вычислениями и выкладками. Положение политических дел его не занимало; как Архимед, не заботился он о том, что неприятель подступал уже к тому городу, в котором ему должно было держать экзамен в Кандидаты. Время каникул уже кончалось, должно было торопиться. И вот однажды Аврелий был занят выкладками Теории Луны; уже он привел Формулу в выра-

жение A^2 ... вдруг утомление погрузило его в забывчивость, какой-то огонь пробежал как мучительное щекотанье по членам; Аврелий склонил голову на руки и не слышал как старик дядька и слуга его, вошел в комнату, уговаривал оставить книгу и лечь постелю, и не чувствовал, как склонил его на подушки.

Но не сон одолел Аврелия, а сила духа, подавившая изнеможенное тело. Душа предалась всей своей деятельности, как освобожденная от оков.

Спокойно лежал он лицом против окна, сквозь которое видно было, как полная Луна катилась по ясному небу ночи; постепенно лучи её набежали на закрытые глаза Аврелия.

Видит он море света, течет, наполняет собою весь мир, — видит потоп наук и искусств: гибнут формулы математические, ломаются линии, трещат плоскости, тонут тела. — Волны света вырывают из вычислений целые Формулы с корнями размывают громадные строения уравнений всех степеней, отторгают синусы и косинусы, тангенсы и котанген-

сы, от кругов, эллипсисов, парабол и гипербол; сбивают с пути параллели, дробят хорды, диаметры и радиусы.... Рассыпались цифры, рассыпалась таблица умножения и Логарифмы; рассыпалась Азбука Алгебраическая, сложение, вычитание, умножение и деление слились вместе; плюсы и минусы отделились от букв, погибла величина, все обращалось в ноль целых, ноль десятых, ноль сотых, ноль тысячных...

«Спасайся!» загремел ужас в сердце Аврелия.

Он вскакивает с постели, приближается к окну, лезет вон.

Море света подступает уже под карниз дома.

Осторожно пробирается Аврелий по карнизу.

Выше и выше поднимаются волны света, топят карниз.

Около угла, по жёлобу, взбирается Аврелий на кровлю дома; твердыми шагами идет по скату, вверх; перебирается на другую сторону... туда не достигли волны света... соска-

кивает на навес над наружным коридором, спускается по колонне на перила... там мрак... Но вот вдали загорелась звёздочка, от звёздочки разлилась радужная полоса... Аврелий останавливается.

— Это она! — говорит он шопотом. Она! так близко к земле!.. Какое влияние должна она произвести на судьбу нашего мира!.. Боже, какой блеск!..

Скорыми шагами приближается Аврелий к окну, из которого ударял свет в коридор... перескочил в отворенное окно...

Громкое восклицание раздалось над ним. Аврелий падает... Все потухло в его очах.

В лесах Смоленской Губернии, в своем небольшом поместье, жил Гусар Екатерининских времен. Около двадцати лет он отдыхал уже на лаврах, пожатых им в Польше и Турции, и величался званием Майора.

Это был живой военный журнал действий победоносных Российских войск, под предводительством Князя Александра Михайловича Голицына, Графа Петра Александровича Румянцева-Задунайского, Графа Панина, Князя Долгорукого-Крымского, Графа Алексея Григорьевича Орлова-Чесменского, Храброго Вейсмана, Князя Григория Александровича Потемкина-Таврического, и наконец Суворова, Бога войны, которого грудь была выставкой всех Европейских орденов, сердце магнитом, слово электричеством.

В веке Александровом, Господин Майор закручивал еще те же усы, которые опалил ему Янычар выстрелом из пистолета, в Буджаке при Ларге; стряхивал с лица, те же густые локоны, или лучше сказать витые косы, которые как две колонны ограничивали широкий

фасад вспаханного саблею лица его; носил по праздникам тот же заслуженный мундир, выложенный золотыми шнурками и усеянный дутыми пуговицами, который в 1787 году горел на нем как солнце, при встрече знаменитых путешественников Екатерины II, Иосифа II и Станислава в Симферополе; носил те же сапоги — с оторочкой, остроносые как голова стерляди, твердые как сабо Королевских Почтальонов, на высоких кованых каблуках, с шпорами, похожими на модель сушильной машины — те же сапоги, которые твёрдостью своею спасли от перелома ногу его, когда при переправе чрез Дунай, конь Г. Майора спотыкнулся и грохнулся вместе с ним о землю.

Сослужив службу верою и правдою, пожертвовав частию крови своей отечеству и достигнув до важного чина, Г. Майор пожелал влюбиться и жениться, что немедленно и исполнил, но не так как хорошие люди.

Он женился не на простой женщине, которая бы принесла ему в приданое, кроме любви и должного уважения к его чину и заслугам, небольшую деревеньку, да хорошие сведения о варении ленивых щей, печении куле-

бьяки, солении огурцов, — да некоторые понятия о добрых и худых приметах, да страсть пить чай, да охоту с кумушками судить и пересуживать людей, да привычку журчать на слуг и служанок, да еще кой какие мелочи, необходимые для разнообразия семейной жизни... нет, он влюбился в молоденькую жену одного помещика, увез ее и тайно обвенчался.

Неопытное существо, прельщенное мундиром и мужеством Г. Майора, оставило мужа, оставило дитя, оставило навсегда спокойствие души, в одном из селений Владимирской Губернии и переселилось в Смоленскую, в поместье Г. Майора.

Поселившись в своей родовой деревне близ Смоленска, Г. Майор захотел быть вполне сведущим помещиком, и потому выписал себе необходимые хозяйственные книги:

1) — *Сельский устав, содержащий в себе должности служащих в Господском доме, и сельских начальников, с присовокуплением экономии и деревенского учебника.*

2) — *Всеобщее и полное домоводство, в котором ясно, кратко и подробно, показывают-*

ся способы сохранять и приумножать всякого рода имущество....

3) — Христиана Гермесгаузена: хозяин и хозяйка, или должности Господина и Госпожи, во всех видах и частях.

4) — Подробное наставление о табаководстве.

5) — Энгельмана: Руководство к постройке хлебного анбара.

6) — Лафосса: Описание о настоящем и точном месте, или гнезде заседания сапа.

7) — Фан Тиллия: Описание бальзама, называемого Медикамент.

8) — Кизо: Описание драгоценного лекарства, называемого эссенциею жизни.

9) — Евгения Вицмана: Краткая книжка, или удобопонятное наставление, как с утопшими, замерзшими, удавившимися и повесившимися поступать надлежит.

Кроме сих книг выписал для жены:

— Добрая помещица, или подробное описание того, как сия сельская хозяйка должна смотреть за своим домом, также за скотным и птичим дворами.

И: О вредном и опасном обыкновении целоваться.

Г. Майор поставил все сии книги в особенный шкапик с стеклянными дверцами, и начал распорядиться в деревне своей по военному артикулу.

Ко всякой сельской работе приступали у него по особенной инструкции, — дисциплина соблюдалась строго.

Кто запьет, заленится, ослушается сотника или десятского, не платит оброк — «призвать его ко мне!» скомандует Г. Майор и делает выговор следующим образом:

— Знаешь ли ты, собака! что бы было с тобой, если б ты был в воинской службе! а? — пять тысяч раз прогнали бы тебя шпицрутеном, сквозь строй! Этого мало!.. Тысячу фухтелей ввалили бы тебе в спину!..

— Что, если б таких лентяев, как ты, послать брать приступом Ченстоховскую крепость?... Посмотрел бы я, что стал бы делать Князь Александр Михайлович? — Расстрелял бы вас без пощады, как изменников!.. Как! не исполнять артикула? уходить от барщины?

не повиноваться постановленному от Господина сотскому? а залп картечи в спину! Этого мало! — на деревянного коня, а на ноги двух пудовые гири! — а? Ты думаешь, что не солдат, так над тобой нет дисциплины, и экзекуция нельзя учинить... Нет! здесь лес велик, есть откуда шпицрутен вырубит! — Заставлю бородой двор мести, в ступе воду толочь! — Этого мало! лоб, да и только!

— Дрянь мужик, дрянь и солдат; был пример под Ченстоховым: привели беглеца — под военный суд, в 24 часа! Что же? — отдан в солдаты за пьянство, за лень, за неуплату оброка! такая же ленивая bestия как ты! — Расстрелять! да и только! Этого мало! в каторжную работу!

— Другое дело добрый мужик — добрый солдат. Вот, я и сам в рядах служил, и слава Богу, дослужился до Майоров; пожалован крестом и медалью за взятие Ченстохова; под Кинбургом ранен в плечо, пулею на пролет; под Очаковым разрублена щека Татарской саблей; в 1789 году 11-го сентября был в славном сражении под Рымником, где Турецкий Визирь разбит на голо; тут, получил конту-

зию в ногу; под Измаилом лишился двух пальцев на правой руке, и ранен тремя пулями: одной на вылет в бедро, другой в левую ногу, третья по сию пору под ребрами; этого мало! в сражении при Мачине, под предводительством Князя Репнина, получил 10 ран ятаганом! а всё-таки жив и здоров, здоровее тебя, собака!..

Таким образом судил и рядил в своем поместье старый Гусар.

Подробности же сражений передавал он потомству, чрез рассказы своим добрым приятелям и жене.

В широких креслах, с огромной трубкою в руках, он походил в исступлении рассказов на громовержца Юпитера, покрытого тучами и держащего в руке грома.

Тут-то имя Суворова, как заведенный Мельцером Метроном, било такту и гармонировало рассказ; тут-то головы Турок сыпались тысячами; тут-то Г. Майор, в подражание великому человеку, пел кукареку. От удивления все слушатели ахали, шафка и моська лаяли, а Майорша сердилась.

Едва только выучилась она делать своему

мужу гусарский пунш: класть в меру воды, сахара, лимона и рому — Лидии, единственному плоду союза супружеского, минуло 10-ть лет от роду. Отдали ее в Москву в Институт.

Не успела еще Майорша дослушать ежедневно рассказываемый журнал военных действий своего мужа, Лидия кончила уже курс учения и была выпущена из Института обратно к родителям, с похвальным листом, с образованным умом, с добрым сердцем. Лидии минуло 16 лет, Лидия была лучше всего, что нужно для любви и счастья.

Лидию привезли из Москвы в деревню; и вот, Лидия слушает походы отцовские, Лидия штопает чулки материнские.

Кроме сих занятий Лидия читает отцу, не прочитанные еще им, газеты за прошедшие годы; читает подряд, от доски до доски, от слова до слова, со всеми известиями, объявлениями, о продаже вещей, об отдаче домов в наймы, о желании идти в услужение, о приезде и об отъезде значительных особ...

Уже на дворе был Август месяц 1812-го года, а Г. Майор слушает внимательно события 1807 года; дивится известию о преобразова-

нии Прусского войска, — что Король отставил от службы более тридцати Генералов; что в войске Прусском уничтожается всякое различие между дворянами и мещанами; что впредь постановляется не бить никого палками; что провинившиеся будут задерживаемы под караулом, а кто провинится в четвертый раз, того бить шпажными полосами...

— То есть фуктелями! — восклицает Г. Майор, и велит Лидии продолжать чтение; но вдруг чтение прервано страшным известием о приближении Французов к Смоленску и о битве 4-го и 5-го августа. Вслед за сим известием новое: французы в Смоленске.

Всполошился Майор.

— Как! — вскричал он — где же наша армия? Саблю! коня!.. Не может быть! не будь я гусар, если это правда! Этого мало! Это ложь! — Я сам еду!

Но вспыхнувшее мужество старого гусара потушено слезами жены и дочери.

Новые вести еще страшнее: Французы уже за Смоленском. Между народом носится слух, что народился Антихрист Аполион, идет воевать землю, ведет брата на брата, сына на от-

ца, и двадцать языков ему уже покорились.

И вот, после криков, споров и слез, положено ехать в столицу.

В рыдван запряжена уже шестерня пегих коней. Старый гусар стучит своею саблею, гремит шпорами, жена надевает капюшон, Лидия соломенную шляпку.

Садятся, едут в Москву.

— Там, — думает Майор — семейство мое будет в безопасности, а сам — на коня и в ряды!

Приезжают. Нанимают квартиру в доме, между Никольскими и Ильинскими воротами, на площади. Расчетливый Майор, по дороговизне кормить лошадей в столице, отправляет их обратно в деревню.

Между тем и Москва наполняется страхом. Комета возвещала конец мира, по небу ходят кровавые облака, как перед мором. Гудят колокола всех церквей Московских; идет Смоленская Божия Матерь в стольный град. Река народу течет по Тверской к Иверской Божией Матери. Все безгласно, кроме сердца. Во взорах любопытство, уныние и слезы.

III

Г. Майор нисколько не верит слухам, что Москва в опасности. Он знает, что в Воронцове строится шар, который вооружится несколькими орудиями, наполнится целым отрядом войск и полетит на неприятеля, как черная туча, осыпать громами и молниями.

Г. Майор читает уже афишку, что шар сей полетит чрез Москву. Г. Майор садится на балконе; как астроном водит очами по небу. Ждет. День ясен; не летит шар, только солнце катится от востока к западу.

Настает 1-е сентября, воскресенье; не в соборы, молиться Богу, идут и едут жители Москвы, но торопятся за заставу. Народ толпится на Никольской у входа в управу благочиния, жаждет слышать весть об участи своей, срывает с типографических станков мокрые афишки, учит наизусть воззвание к жителям Москвы:

— Братцы! сила наша многочисленна и готова положить живот, защищая отечество! Не пустим злодея в Москву!.. Вооружитесь, кто чем может, и конные и пешие! — возьмите

только на три дня хлеба, идите со крестом; возьмите хоругви из церквей, и с сим знаменем собираетесь тотчас на трех горах!..

И этого довольно, общий страх не тревожит Г. Майора: ему ли бояться неприятеля? Кто осмелится потревожить Русского барина! Этого мало:.. старого заслуженного гусара, в Москве? Майор готов пуститься сам в бой, за Москву, за отечество, да к нему приступил свой неприятель— подагра; обложил ноги его подушками, невозможно сделать вылазки из вольтеровских кресел! И вот, принимая все вести о сдаче Москвы за басни, он играет с женою своею в пикет; а Лидия сидит в своей комнате. Рожденная с романическим воображением, она возлюбила Луну.

Открыв окно, она, на диване, подле стола, читает книгу шопотом.

Верно это книга роман, запрещенный плод в институтах. Торопливо пробегает она страницы; очи её впиваются в каждое слово, сердце наполнилось пламенем, дыхание скоро, душа в первый раз беспокойна, вздох вырвался из глубины её. Лидия закрывает книгу, — задумывается.... Снова разворачивает ее, пере-

читывает замеченную страницу, вздыхает еще глубже, сердце сильно бьется.... Закрывает рукою глаза... и создает в мыслях своих новый мир... создает образ человека.... Он так хорош, так любит ее... он смотрит на нее томно, томно... безмолвие его понятнее слов, убедительнее клятвы, жалостнее страдания....

В первый раз узнает Лидия сладость мечты....

Вдруг раздается подле неё шорох... она вздрогнула, очнулась от очарования...

Кто-то крадется от окна, приближается к ней....

Вскрикнула Лидия, оцепенела от ужаса, чувства ее оставили.

Привидение грохнулось об пол.

Она приходит в себя, осматривается кругом... видит какого-то незнакомца, лежащего без памяти на полу... Он молод, хорош; но лицо бледно...

Лидия хочет снова вскрикнуть, но голос её прерывается....

— Лидия! раздалось вдруг из другой комнаты.

С глубоким вздохом, приподнимается мо-

лодой человек. Он ищет тех предметов, между которыми оставила его память, и не находит их; обводит кругом себя взорами, и взоры его невольно останавливаются на испуганной прекрасной девушке.

— Лидия! — раздается снова из другой комнаты.

Лидия не может произнести ни одного слова, не может двинуться с места.

Молодой человек уже у ног её.

— Скажите мне, где я? произносит он умоляющим голосом и хочет взять ее за руку.

Но Лидия вскрикивает и с ужасом, вырвав руку из рук незнакомого ей мужчины, бежит вон из комнаты.

Пораженный, испуганный, с невольным движением ищет он выхода из комнаты.... В двери кто-то идет.... Он выскакивает в окно, очутился в наружном, крытом коридоре. На дворе темно. Ощупывает руками перила; почти падает с лестницы.

— Кто тут? раздается голос дворового сторожа.

— Эк, приятель, загостился! не попадешь в ворота! — Правее!

Молодой человек выбежал на улицу; скорыми шагами идет, сам не ведая куда....

Унылая ночь лежит на Москве. Часты оклики часовых. На скате неба блещет зарница, и слышен гул, подобный глухим отзвукам грома.

Вдруг, что-то остановило молодого человека; холодный пот катится с лица его, трепет пробегает по членам; с ужасом всматривается он в темноту. Он готов повторить вопрос: скажите мне, где я? — но пред ним нет уже светлого видения, нет сна, который так сладостно возмутил его душу; какой-то страх неведения — что с ним делается? — гонит его. Не видя ничего перед собою, кроме мрака, порывисто хочет он преодолеть преграду, которая остановила его, и ударяется грудью о перила набережной.

Под ним шумят волны Москвы реки; в каком-то возмущившемся состоянии чувств и памяти, он прислушивается к этому шуму, всматривается в темноту и не понимает ничего: понятия пристальных, ежедневных его занятий не могут отделиться от видения, которое ему представилось в образе ангела. То

разрешается этот образ в тумане, как x интегрального вычисления; то скрывается в беспредельность, как бином; то обращается в светлый центр круга и сыплет лучи как радиусы; то переливается из предмета в предмет, как электрическая искра; то кажется фокусом чудного эллипсиса, которого окружность отражает все звуки и лучи на его сердце....

IV

Настает страшный для Москвы Понедельник. Сама судьба, кажется, в недоумении: что будет с Русским народом? Книга её развернута, видно кровавое заглавие чего-то.

Проснулся старик, дядька Аврелия: его разбудил шум на улице; выглянул в окно: на площади расположилась биваками кавалерия; на лицах проходящего народа заметно мрачное беспокойство....

Старик бросился в комнату Аврелия; его нет.

— Господи, последние дни настали! — вскричал старик... — Где барин? куда он девался? куда потел в такую-то смуту? ох, дался ему Наварситет! Пойду за ним!.. Да поставить

было сперва чайник... ушел, не накушавшись чаю!

И вот, старик наколол торопливо лучины, подложил под таган, вырубил огня, зажег серную спичку, запалил, ставит чайник...

— Ей, дядюшка! — раздался вдруг чей-то голос позади старика, раздававшего огонь.

— Дак ганькю!

Старик обернулся — позади его стоял солдат с трубкою в руках.

— Дак, брат, ганькю!

— Ох ты сердешной, откуда тебя Бог принес? словно опаленой.

— С походом, дядюшка! — отвечал солдат, закуривая трубку. — Француз летируется!

— Летируется! — вскричал с ужасом старик.

— Летируется; чай уж у заставы Дорогомиловской. Мы идем в обход; давно бы разбили его, да Палеон, собака, идет с Французом.

— Батюшки-светы мои! пришло последнее время!

— А что, дядюшка, чай в горшечьке-то у тебя щи? — продолжал солдат, не обращая внимания на слова старика.

— Господи, пресвятая Мать Богородица! побегу искать барина! — продолжал старик, не обращая внимания на слова солдата.

— Господин служивой, посиди, брат, у чайника, чтоб не выкипел!.. Побегу я за барином.

— Ступай, дядюшка; посижу, изволь!.. «Старик схватил тапку; бегом пустился из передней.

Оставшийся солдат преспокойно поправил под таганом лучину, начал дуть во всю мочь; пламень обдал чайник, вода закипела.

— Э э! что ты тут хозяйничать? — сказал вошедший другой солдат.

— Воду, брат, грею.

— Добре! засыпь, брат, и на мою долю крупки.

— Изволь, давай.

— Кабы запустить сальца, знаешь, дак оно бы тово!

— И ведомо. Смотрико-сь, нет ли в поставце; да нет ли ложки?

Между тем, как вновь пришедший солдат осматривал все полки и шарил по углам, первый развязал мешочек с гречневой крупой и всыпал горсть две в чайник.

— И уполовника, брат, нет! Вот живут люди; а еще господа! Разве вот тут в горнице-то нет ли?...

— И тут, брат, какая все дрянь: куска хлеба нет!.. Бумаги, бумаги, словно наша полковая канцелярия!.. Смотри-ка, сапожнишки!.. Э э! вот вещь!.. Вот, брат, футляр на гренадерской салтан; да еще с стеклянным доньшком!.. а то вот верно ручная мельница... нет, самопрялка, брат! иш ты, колесо; хрусталь, брат! Вот бы кишкеты крутить — верти знай!..

На улице раздался звук барабана.

— Сбор, брат! — Вот те каша! Неси с собой! Аль придем после?

— Нет, брат, про другова я не стряпуха!.. отвечал первый; снял с огня чайник, отломил щепку и начал завтракать.

Сбор пробил в другой раз.

Заторопились, всполошились солдаты и ушли.

Выбегают дядька Аврелия на площадь и видит, что нет уже того обычного, заботливого, но спокойного движения в народе. Все в каком-то волнении. Улицы полны дорожных; там и сям проходят ряды пехоты и кавалерии, тянутся ряды казенных фур, ящиков, госпитальных карет. Гремит военная музыка, стучит барабан походный марш. Грохочет мостовая под экипажами, сталкиваются кареты, коляски, брички и телеги, ждут покуда пройдет артиллерия.

Пробираются по сторонам улицы подходы, с котомками за плечами; идут женщины с грудными младенцами и с заплаканными глазами подле телег, наполненных детьми и сундуками; бегут собаки, ищут хозяев своих и, останавливаясь между толпами народа, воют.

Все куда-то спешат. Торопится и дядька Аврелия в Университет. Бежит чрез Кузнецкий мост, мимо громового колодца, по набережной Неглинной канавы, мимо огромных черных стен сторевшего Петровского театра,

мимо развалин дома Князя Сибирского, походившего на обитель привидений, нищих и бродяг.

Рядом с сим домом, у входа под вывескою орла, бушующие толпы черного народа и солдат стеснили все пространство улицы до самой канавы. Нет прохода.

С ужасом останавливается старый слуга Аврелия, смотрит как народ атакует распивочное кружало. Кончилась штофная и мелочная продажа; целовальник уже не меряет вино и не обмеривает; гости распоряжаются сами; втулки и краны отбиты; бьет вино ключом; за кружки и за ендову драка. Стекло хрустит под ногами; шум, вопль, крик; нет помилования и защиты: эгид полиции исчез; безумная, слепая воля разгулялась, бушует, упивается; на языке брань, в сердце чудные превращения любви в ненависть, ненависти в дружбу; в очах — стены в дверь, шапки в чашку, целой улицы в нескромный угол. Придерживается воля за стенку, ползет на четвереньках; для неё чутко неправильное движение и колебание земного шара; кружится у ней голова....

С ужасом пробирается старик сквозь бушующую толпу, на Тверскую. И там нет прохода. Как будто печальная процессия тянется от Иверской; новые ряды артиллерии и обоз с ранеными. С трудом протеснившись чрез улицу, старик прибегает в Университет; ворота заперты, сторожа нет.

— Где же мой барин? — произносит он со слезами и торопится назад. Приходит домой.

На ступенях лестницы находит он барина своего. Облокотясь на перила, сидит Аврелий бледный, мрачный, потерянный.

— Барин, где ты был? — говорит ему добрый старик.

— Барин, а барин!

Аврелий очнулся, вздохнул, посмотрел на старика.

— Послушайся седины моей, пойдем за народом; все бегут из Москвы!

— Куда пойдем мы? спрашивает Аврелий задумчиво.

— Пойдем в свою деревню.

— К отцу? — За чем? Я не покажусь ему на глаза, покуда не буду Кандидатом; а теперь не могу держать экзамена... да, Бог знает, что со

мною делается!.. Я все забыл, забыл и то, чему учила меня мать моя... Я только одно помню... только одно. Послушай, не знаешь ли ты: где я был? Добрый Павел, где я ее видел?... Только не говори мне, что это было во сне... Нет! чувство не могло обмануть меня.... Что так не давит груди, от призрака так не бьется сердце, мечта не в силах помутить рассудка!..

— Полноте, Аврелий Александрович! Бог ведает, что с вами дается: весь не свой! Пойдем, батюшка, барин! убьют нас здесь! — Пойдем, куда Бог понесет, за православными!..

Старик повлек за собой Аврелия; но заметив, что у него нет ничего на голове, остановился, вбежал в переднюю. На очаге тлеют еще дрова; на столе, в чайнике, остатки гречневой каши. Вбежал в комнату: там все перевернуто, пересмотрено; книги и бумаги на полу; платья нет; Электрическая машина разбита.

Старик всплеснул руками, бросился к своему сундуку.... Сундук разбит, пуст.

Заплакал старик и воротился к задумчивому Аврелию, который все еще сидел на ступенях крыльца.

— Пойдем, пойдем, барин, скорее! Вот тебе

моя шапка.

Взяв Аврелия под руку, он повлек его за собою со двора.

Улицы опустели изредка только скачет отставший кавалерист, или тянется сломавшийся полковой ящик; изредка только попадают на встречу страшные лица, как досмотрщики, заглядывая в окна и в двери; иные вооружены, другие обременены ношами. На мостовой разбросаны разные вещи, разбитые, изломанные; там и сям валяется разная посуда, бронза, книги, куски материи все лежит как потерянное, брошенное, ненужное.

— Скажите мне, где я? — произносит Аврелий задумчиво и останавливается.

— Пойдем, барин, пойдем! Здесь нас убьют! говорит старый слуга и влечет Аврелия за собою.

— Братцы, дайте испытать!.. — раздается в стороне слабый голос, сопровождаемый стоном.

В воротах одного дома лежит раненый.

— Братцы, приколите меня, Дайте смерти! — продолжает раненый.

— Скажите мне, где я? — вскрикивает Аврелий и останавливается.

— Пойдем, барин, пойдем! Говорит старый дядька его, трепеща от страха; и влечет Аврелия насильно за руку.

VI

Сиротеет Москва — сердце Русского Царства. По дороге Владимирской бегут её, жители бегут с черным унынием в душе. Горюет сердце каждого, обливается слезами теряются мысли в темной неизвестности об участи отечества и о своей собственной. Бегут дети от матери любимой, взяли бы они ее на плечи свои, разобрали бы они ее по камню, унесли бы с собой от злого врат, да не допустила до того воля небес.

Полна дорога Владимирская народа; все останавливаются, прощаются с белокаменной Москвой; а слезы ручьем, а сердце замирает, а страх гонит далее, далее от Москвы первопрестольной к древнему великокняжескому граду Всеволода, к Володимиру.

Солнце уже скрылось, потускнели вдали главы соборов и церквей, потемнели белые

стены высоких зданий, только Иван Великий светится еще, как заходящее на горизонте светило ночи.

За селением Новым, вправо от дороги, при входе в рощу, тотчас за цепью расположенных арьергардных Казачьих и Калмыцких полков, остановились Аврелий и старый его дядька.

— Мочи нет! Барин, здесь отдохнем мы; ноги подкосились!

— Хорошо, отвечал равнодушно Аврелий и сел на срубленное дерево, приклонился на сук, предался какому-то усыплению.

Старик прилег на землю и скоро заснул.

День потух совершенно; а над Москвой все светлее, светлее, как будто образовывался рассвет нового дня; и вдруг, на горизонте, за клубились черные тучи и вспыхнуло из них пламя; а шатер Сухаревой башни выказался из огня чернее туч. Потянулись струи дыма к небу, взвились густыми облаками, под небом наполнили собою огненное море, которого берегами была темная ночь. Восходящая луна выглянула из мрака, как бледный Вампир из гроба.

— Вот она! — произнес глухим голосом Аврелий, встав с дерева, на котором сидел.

— Вот она! — продолжал он, выходя на дорогу к Москве. — Бел ошибся 24-мя годами! Нет, период её не 75-ть лет!.. Ужели это та же, которая была видна в созвездии Лиры?... Глупые люди!.. Кометы различаются от других небесных тел долгим, светлым хвостом, стоящим всегда против солнца!.. и это определение кометы?... а Невтон: кометы суть, суть, суть... С презрительным смехом остановился вдруг Аврелий, и потом продолжал: суть твердые, вечные тела, движущиеся в продолговатых кругах беспрепятственно, а хвост их есть— дым, есть нар происходящий от голов кометы, когда она раскалится от солнца... Вот бесподобный пароход!.. Чудак! как будто тело, быстро рассекающее эфир, не есть летящий по безбрежному морю вселенной корабль, оставляющий за собою огненную струю, видимую во время мрака?...

Пойду на Обсерваторию наблюдать течение её!..

Что это такое? Боже! небесный Океан вспыхнул!.. В холодных странах Сатурна и

Урана пышет пламя! Спутники планет переметались, сыплются как искры, как Берхманов огненный дождь!.. Кольцо Сатурна захватило в окружность свою все планеты!.. О! теперь-то рассмотрю я его!..

Точно... оно есть след пылающего спутника, который обращается около Сатурна 86,400 раз в сутки; и потому-то быстрый след его бедные люди принимают за прозрачное кольцо! Это также верно, как то, что солнце, без миров, окружающих его, потухло бы: оно живет ими; оно за пищу, принимаемую от них, платит только одним светом.... Так, солнце! ты пьёшь лучами своими силу земную!.. Что такое растительность, как не стремление соков земных к тебе, лампада мира!..

— Кто идет? — раздался вдруг голос форпостного казака.

— Студент! отвечал Аврелий.

— Куда?

— На Обсерваторию.

— От кого послан?

— От кого послан? чудак! Разумеется, что Любомудрие призывает меня туда! Смотри, что делается на небосклоне? — Неужели воз-

мутившийся закон течения планет и приближение страшной кометы тебя не трогает?... Если ты не торопишься сам, топусти меня, — кто бы ты ни был, — я пойду посмотреть на своих родных, потому что все светила небесные родные мои....

— Ну ступай, ступай, Бог с тобой!.. Бедный! у тебя в Москве вся родня осталась? жаль, друг, найдешь ли их в живых!

Пламень пожара Московского вспыхнул, казак взглянул в лице Аврелию.

— Ээ, да ты, брат, слепой!

— Да, вечная благодарность Гершелю! Без него всякое зрение было слепо; его телескоп подвинул к земле все плавающие в небе миры! Впрочем, продолжал Аврелий, вздыхая, — почему знать, может быть и глаз человеческий есть природный Телескоп, увеличивающий искру до огромного солнца.

— Ну, помогай тебе Бог, только не забреди слепа к французу, — сказал казак, смотря с сожалением на удаляющегося Аврелия.

Скорыми шагами приближается Аврелий к Москве. Пожар разливается по ней; пламя клубами отрывается от горящих зданий и

вихрем вьет в воздухе. Огненное небо обведено бледной радугой с черной полосой.

— Кольцо Сатурна, все более и более! — говорит глухо Аврелий. — Боже, это вся солнечная система сдвинулась, стеснилась, сжалась, хочет слиться в один общий мир, в одну глыбу света! Вот белорумяная Венера; вот пламенный Меркурий; вот рыжий Марс.... Вот и солнце, окруженное матернею жидкою, редкою, тонкою, прозрачною, проницаемою, светящеюся само собою, или освещенною солнцем... или, или, или.... Да! это атмосфера солнца; она похожа на чечевичное зерно, сказал Бриссон, охотник до чечевицы!..

— *Qui vive?* — раздалось вдруг близ Аврелия.

Это был голос часового, стоящего у заставы, в синем плаще, с медною на голове каскою, на которой светилась буква N.

— Воздух более и более расширяется! Если б мне теперь Цельсиев термометр... — продолжает Аврелий, не останавливаясь.

— *Qui vive?* — повторяет часовой.

— Странно, лучи солнца не в вертикальном положении, а так сильно действуют!»

продолжает Аврелий, не останавливаясь.

— Fichterr! que le diable vous emproche! Pan!

Выстрел раздался.

Аврелий грохнулся о землю.

Из караульни высыпало несколько человек.

— Oue-se-qu'y a?

— Ma balle passée dans le ventre d'un pauvre sourdaud! — отвечал часовой.

Толпа солдат бросилась смотреть, кто убит. Дернули Аврелия за руку, перевернули ногой. Он глубоко вздохнул, очнулся, приподнялся на ноги... Скажите мне, где я? — произнес он, обводя взорами толпу окружавших его солдат, на которых каски горели от пожара.

Над ним хохот, говор на различных языках; ему связывают руки, ведут его.

— Что со мною делается?... — мыслит Аврелий. — Сон, безумие, или смерть? огонь!.. ад! тени с огненными лицами!.. гремят цепями!..

— Скажите мне, где я? — хочет повторить он вслух; но слова его замирают на устах; ужас овладел им совершенно.

Как преступника, с поникшею головой, ведут его по улицам; горевшие здания, мимо ко-

торых должно было идти, обдавали проходящих жаром.

Устрашённый Аврелий не чувствовал, как очутился под сводами огромной залы, освещенной пожаром.

Кто-то худощавый и бледный, сидит в креслах; пред него представили Аврелия.

Все лица и все предметы казались в огне; Аврелий не смел поднять очей.

— Кто ты? — раздался громкий вопрос.

Человек, или душа человека... не знаю! отвечал Аврелий, не поднимая глаз.

— Вижу, что ты похож на тень! — продолжал тот же голос, захохотав.

— За чем ты пришёл сюда?

— Не знаю, я здесь не по своей воле.

— Кто же послал тебя?

— Дела мои.

— Твои дела? понимаю: ты за важным делом крался чрез цепь.

— Во время жизни своей человек может управлять и чувствами, и делами своими; но за гробом, после смерти, душой человека управляет воля невидимых....

— Умный плут всегда притворяется безум-

НЫМ; но это пошлая уловка в том ремесле, которое ты избрал для себя.

Моим ремеслом было ученье, — отвечал Аврелий. — Заблуждаться я мог, мог обманывать самого себя, а не других. Страсть к изысканию Истины окружена, то непроницаемою тьмою, то ослепляющим светом, и человек есть жертва слепоты своей, до самого прихода смерти... дивной смерти!

— Следовательно, только смерть может возратить тебе зрение? Посмотрим, какими глазами ты встретишь ее!

О! возвратите мне ту блаженную минуту, когда я переходил в вечность!.. когда смерть предстала мне в образе очаровательного существа!.. Дайте мне еще раз умереть!.. Она пронеслась мгновенно, как жизнь, и исчезла, оставив во мне и кругом меня ад, страшный ад!.. Она явилась мне в образе женщины!.. Я предавался любви к наукам, я изучал тайны сердца самой природы... женщина ли уподобится красоте неба? — думал я; что открою я под очаровательною личиною слабого существа, кроме заблуждений и непостоянства?... Вселенная! вот создание, покорное законам

премудрости! Ее хотел я любить только в жизни... Но смерть явилась мне в образе обыкновенной женщины, соблазнила душу мою, бросила меня, как изменница, в жертву новой жизни... а я полюбил ее!

— C'est un imbécille! qu'on le mène au traveaux!

— Marche! пашоль! — сказал жандарм, выталкивая Аврелия из комнаты.

На дворе, команды разных полков толпились около весов, мешков и кулей, принимая провиант и фураж. Они все были освещены пожаром; среди ночи не нуждались в факелах и фонарях.

Жандарм, приняв следующую ему меру овса, взвалил мешок на спину Аврелия и погнал его ударами сабли.

Ноша была не по силам Аврелию: скоро он изнемог и рухнулся на землю....

— Ah, le creve-coeur! — вскричал жандарм, ударив Аврелия; но беспмятный не отозвался, как труп, Жандарм толкнул Аврелия ногою с мешка, на который он упал, взвалил мешок на плечи, и исчез в глубине улицы, напевая:

*Disait — on très bonnes
Les femmes du canton,
Si le diable les tâtonne,
A tâtons, disoit on!*

VII

В небольшой пустой комнатке, освещаемой слуховым окном, лежал на полу труп женщины; около этого трупа обвились руки прекрасной девушки, которая была без чувств; уста её впились в уста умершей.

Подле стоял на коленях бледный, молодой человек; казалось, что в нем также онемели все чувства, слились понятия, помутилась память; только неподвижные взоры, устремлённые на беспмятную девушку, как будто разглядывали: — где видел я в первый раз этот ангельский образ? кто эта девушка? каким образом Москва обратилась в ад, где и сам я существую как очарованный; где сердце разрывается от полноты непонятных чувств, где душа смущена, и ни одно чувство не в силах определить: разорван или нет союз её с телом?

Казалось, что трепетными устами он про-

износил: «очерти меня, сила премудрости, от призраков, которые мутят мою память! Где я? кто я? что растёт в груди моей? сердце ли это? чем оно наполняется? — Любовью? страданием? страхом? жалостью? Или сжимается оно, чтоб изгнать из себе все человеческие ощущения и пролить все свои слезы?

Вдруг пламя обдало дом, заклубилось около слухового окна. Молодой человек бросился к девушке, обхватил ее, оторвал от бездушного тела и бегом пустился с лестницы, выбежал на двор. В воротах лежал новый труп. Как старый служивый, Екатерининских времен, отдыхал он после жаркого боя на поле битвы.... Очи закрыты, гордая улыбка на устах осенена густыми усами, меч в руке, смерть во всех членах.

Темная ночь лежала на Москве, озаренной пожаром; шум стихал на улицах; только изредка раздавалось там и сям: — *Qui vive!*

— Здесь, здесь она! — повторял молодой человек, задыхающимся голосом, пробегая то через мрачные, то освещаемые пожаром улицы. Он озирался вокруг себя, с боязнию, чтоб кто-нибудь не встретился и не вырвал из рук

его ноши, — как Прометей, похитивший огонь небесный.

Выбравшись из глубины Москвы, задыхаясь, перескакивает он чрез вал города, ищет взорами безопасного убежища и увидев вдали уединенное здание торопится к нему.

Это церковь на кладбище.

Приблизясь к ней, окидывает смутным взором ряды крестов могильных, освещаемых огнем Москвы, опускает беспамятную девушку на насыпь, уложенную дерном, и падает подле неё бледный, как жилец гроба; но, еще, с усилием, проникается он и берет руку девушки; кажется, хочет прислушаться к её дыханию, ожидает мгновенных вспышек огня Московского, чтоб всмотреться в лице её... хочет что-то сказать, и не может: память его теряется, чувства замирают.

Ночь темнее и темнее стелется на все предметы, а над Москвою небо разгорается снова, звезды рассыпались, млечный путь перепоясал небо.... На кладбище мирно; над могилами не носится ужас, гробы не отверзаются, тени умерших не носятся над юдолию праха.

В отдалении, на башне, раздаётся звук колокола, возвещающий полночь. Вдруг, под густой березой, на насыпи, раздаётся глубокий вздох.

— Матушка, матушка!.. — повторяет чей-то слабый, нежный голос, и снова настает могильное молчание.

— А, вот он! вот светлый пояс неба, венец бесконечности, вселенной! — раздаётся другой голос. — Вот — продолжает он — вот и великолепный, блистательный Сириус, средоточие мира! Это он, он, от которого луч, пробегающий в один миг более 805,900 верст, доходит до нас в 60 лет!.. Помножим же... но это ничего!.. Луч Сириуса равен горсти цифр, уставленных в ряд; а число, которое упишется на чёрте расстояния земли от Сириуса, будет равняться лучу звезды сумрачной...

Где же центр Вселенной, около которого все миры носятся как развеянный прах?

Может быть... кто знает... весь этот эфир, обнимающий вселенную, есть капля воды, населенная бесчисленностью жизней.... Может быть видимая величина есть оптический обман.... Где беспредельность, там нет и вели-

чины!..

А! чу, звонок! пора мне.... Что это значит?... руки и ноги прикованы к земле!.. Не Кавказ ли подо мною?... Боже! Я не похищал небесного огня!.. За что эти терзания сердца!..

После сих слов снова все умолкло.

Вдали, на башне, снова раздался звон колокола, повещающего одну четверть полночь.

— Чу! звонок! — повторил тот же голос. — Иду, иду!..

Между могилами кто-то пронесся тенью и исчез в темноте.

Все умолкло.

VIII

Не спи, счастливец, пристрастный к благам земным; стереги их, бойся, чтоб во время сна твоего невидимая рука не похитила золотых твоих радостей. Не спи, если ты в состоянии плакать о своей потере.

Своенравна судьба, но непроизвольно, не безотчетно правит она твердо: есть воля и над её волею.

Древняя волшебница сдвигает горы, опрокидывает моря на землю, обдаёт пожаром целые страны, колеблет недра земные, носит грома от одного конца мира до другого, мечет человека из края в край, и, оставляет его, распростертого в прахе, без жизни, без памятника о существовании!

Только одна гордая мысль спасает его от унижения: одна мысль, что он живет на земле не телом, а духом; живет светом, а не тяжестью; измеряет жизнь не днями, а величиною внутренней своей силы.

На внутреннем, каменном своде башни Ку-тафьи (Водовозной) лежали и сидели в разных положениях несколько десятков человек.

По рубищам различной одежды, невозможно было распознать, что-то были за люди; только по лопаткам, ломам, заступам и ручным тележкам, можно было догадываться, что это был народ рабочий. Однако же на лицах и наружности их ярко обрисовывалось различие состояний и чувств: тут видны были слезы и смех, презрение и досада, брань и равнодушие, страдание и проклятия, и даже довольствие своей судьбою, словом, все оттенки различного понятия о своем настоящем положении.

Уже рассветало; в сквозные окна башни дул довольно резкий ветер; густой туман, напитанный удушливым чадом, скрывал наружные предметы и все обдавал холодной росой; тщетно рабочий народ, находившийся в башне, прикрывал полуобнаженность свою изношенными солдатскими шинелями, мундирами разных покровов, цветов и царств, женскими салопами, обносками халатов, кафтанов, полушубков, сюртуков, одеял, ковров, циновок, и прочею рухлядью, — ветер свистел в ущелья бедной одежды, и у иных не приходился зуб на зуб, тело дрогло от холода,

душа от печали.

Но большая часть из них почитала в жизни несчастьем только голод и жажду.

— Что ж они, окаянные Французы, не несут нам хлеба! Даром что ли работать на них! — вскричал статный, плечистый детина, с рыжею бородой, с сверкающими глазами, накинув на плечо полинявший синий военный плащ.

— Да, что не несут; а ты, голова, опять все себе заберешь! не дашь куска другому кому! — пробормотал сквозь зубы, сердито, другой, к которому лохмотья армяка так пристали, как будто он из них роду не выходил.

— Ну, бродяга! — продолжал первый, — есть тут получше тебя господа, да молчат!

— Молчат! Француз дворянства не разбирает: все работай, на всех ровная доля; да что ж коли нет делёжки...

— А, уж коли пошло на дележ, так все общество выбирай старосту. Вот, во временной тюрьме, я не один год был, никого не обделял — калачей ли лоток купцы принесут, говядины ли, аль красных яиц на Светлый праздник.

— Изволь, брат, мне что до других, я тебя выбираю в старосты; бери и на мою долю; лапа-то у тебя с кохтем, а у меня козья, с копытом — ничего не ухватишь.

Рыжая борода презрительно усмехнулся на слова бродяги и затянул вполголоса песню.

— Как, ваше превелебие, попали в руки французу? — спросил один пожилой человек, в фризском горохового цвета сюртуке, соседа своего, облеченного в монашескую одежду.

— Я, государь мой, не монашествующий, не священного сана, а признательно вам сказать, я приказный Палатский служитель. За несколько, знаете, дней до Французов, прихворнул я, а 2-го сентября, в понедельник, повыздоровел не много, да и иду в Палату; смотрю, а там тьма народу! — Что, приятели, не просьбицу ли кому написать? а они: ууу! приказная строка, души его! — Я и обомлел, да в судейскую было жалобу принести; а там — Господи! — что это за время! — настольный регистр, журнал, протоколы на полу!.. Глядь, уголовные работают около казённого сундука. Батюшки, пустите душу на покаяние! а они меня бить!.. Натешились, пустили; я бе-

гом на Никольскую... смотрю, валят Французы! я в сторону, в Греческой монастырь — думал спасусь; ан вот-те и спасенье!..

Скрип железных притворов башни перебрал слова приказного служителя; общий говор также вдруг умолк; двери отворились....

— Marche! — вскричали два Французских солдата, и втолкнули молодого человека, в синем казакине, без шляпы; лицо его было бледно, глаза мутны, силы истощены.

— Еще товарищ на подмогу, — милости просим! — вскричал рыжий; но, осмотрев с ног до головы вошедшего, продолжал: „Э, да и это верно также барской крови, чай тоже целой век пылил; ну, брат, подметай теперь сам.

Двери снова заскрипели; несколько человек Французских солдат внесли корзину с хлебом.

— Viens, ronge, chiens de liasses! — вскричали они, вывалив хлеб на землю, и вышли.

Почти все вскочили, бросились толпой на корзину, с жадностью.

Только некоторые, с горьким чувством, смотрели на начавшуюся драку, и ожидали

крох, которые после сильных и завистливых остаются для утоления голода слабых и добродушных.

Бывший тюремный староста, разметав в стороны всю толпу, ухватил один несколько кусков хлеба.

— Собака! жадный! — возопила толпа пустившихся снова в драку.

— Сами вы собаки! — отвечал староста, обводя взорами кругом себя, и надевая ломтями хлеба тех, которые не смели броситься за своей долей вместе с прочими.

— Вы, бояре, — говорил он, раздавая хлеб, принимаемый как благодать, — без нашего брата умирать бы вам голодной смертью.

— Барин, барин! — раздался голос старика в фризском сюртуке.

И он обнимал уже молодого человека и целовал его в плечо.

— Барин! нашел здесь господ! — пробормотал нищий.

— Барин, и ты здесь! — продолжал старик. — Откуда ты?

— Не спрашивай меня, Павел! я сам не знаю, что делается со мною! Не знаю, безу-

мие, или враждующая сила, перебрасывают меня из ужаса в ужас, и дразнят каким-то очаровательным видением, которое, то является, то исчезает передо мною! которое чувствует и страдает также, как и я, плачет... Да, Павел! я пил её слезы, я дышал её дыханием!.. я вынес ее на руках своих из пламени; я отнес ее на кладбище... похоронил ее живую в мраке ночи и неизвестности!.. а сам очутился посреди новых бед и страданий, в толпе нечестивых духов!

Скрип железных дверей башни опять раздался; общий шум перервал слова молодого человека.

— Marche! — вскричали несколько человек Французских солдат, отворив двери башни.

Все заключенные, с бранью, ропотом, смехом и проклятиями взяли в руки топоры, ломы, лопатки и заступы, и пошли вон из башни. „Marche!“ повторил солдат, вошедший в башню, толкая отставшего Аврелия и его слугу, которых, вероятно, узнали читатели.

— Пойдем, барин, — сказал старик, взяв два заступа в руки; — пойдем, я буду и за тебя работать.

Ряды солдат французских окружили толпу русских пленников и повели их по Кремлевской стене.

Не утренний дым от труб разливался по Москве; но дым от горящих там и сям зданий. Замоскворечье представляло ужасную картину; оно уже походило более на обгоревший лес, нежели на часть города, в котором некогда жил был Русский Дух.

Вся толпа по стене прошла до ближней башни, внутри которой был узкий ход, по лестнице, под стену, в подвалы. Спустились.

Принялись за работу очищать завалившийся тайник Кремлевский. Французские гренадеры, окружив работников, завели между собою разговоры, и с удивлением смотрели на некоторых пленников, которые, по Русскому обычаю— сопровождать работу песнею, — затагнули Русскую песню, не заботясь ни мало о своей участи; но эта песнь нисколько не походила на горестную песнь Швейцарца; это была песнь беззаботного, нетронутого болезнию, здорового сердца, к которому не прививалась тоска.

Только некоторые из работающих молча,

едва приподнимая ломы, вторили звукам песни вздохами; в этом числе был Аврелий и старый слуга его.

После песни, тюремный староста начал рассказывать свою повесть.

IX. Повесть тюремного старосты

Ну, господа, извольте слушать. Видите ли, — купецкой я сын. Уродился хорош, пригож, досуж и вежлив. Бывало— прилегайте вы кудри черные к лицу белому, румянному! привыкайте вы люди добрые к уму разуму, да к обычью молодецкому!

У отца моего была малая толика в ходу, другая товаром, а третья наличною звонкой монетой. Ассигнаций терпеть он не мог: то деньги, говаривал, что огонь и воду пройдут, как наш брат. Стукнуло мне двадцать без двух; на Ростовской ярмонке, вторую масленицу правил я как долг велит. Понатерся около смышленных на все руки; да без своего капитала плохо. Вот, как родной-то приказал долго жить, я и выдвинул все наружу, пошёл поигрывать в бильярты, да в шахматы, во все игры немецкия, да молодецкия; тут-то, брат-

цы, винная река, по сахару текла, во изюм наливалась!

— Грустно вспомнить! промотался, знаете, опохмелиться не чем.

— Да не нищим же побираться, не подпоясывать горя лыком. А воровать Бог помиловал... нет, этого греха не приму на себя! не ела, душа чесноку, — с бою взять наше дело. Что ж делать? пришло Федулу подниматься на ходули. Думать да гадать — кинь-ко баба бобами, будет ли за нами? и придумал.

Видел я в Макарьеве француза. Жил у какого-то барина, учил детей, учил всему; а за науку брал тысячи две.... Что ж, думаю, не черти горшки обжигают, пойду я во Французы.

Прослышал я, что живёт в глуши, в деревне, Боярин, с молодой женой; а у них два баловня. Я к ним— заговорил по-тарабарски, они и рады.

Привели детей. Мальчишки лет по десятку; смотрят на меня исподлобья; а я, по-французски, потрепал их по щеке, да погладил, — старику то и по сердцу. Отвели мне теплую горницу, кормят да поят меня на убой, сама

барыня за мной ухаживает; а я, знаете, по-Французски, к ручке да к ручке, — барыне то и по-сердцу. Мальчишкам напишу карякулю, да и заставлю списывать; они с места, а я их, по-Французски, за ухо, да на место, пиши!

Старик рад и жена не нарадуется.

Вот учу я деток тарабарщине; а барыня учит меня по-русски. Шалишь, думаю, барыня, ножку наколешь! День за днем; да скоро надоело, я и к расчету. Что ж, братцы, грех какой! я было за шапку, а барыня говорит: нет постой! умру без тебя! Нечего делать; вот, пришла пора, мы и со двора.

Барыня добрая, денежная, всем бы хороша, да куда с ней нашему брату? Ей то, а она своё, да в слёзы; ах ты, Господи! то тошно, то больно, то стыдно! ну уж, братцы, кто с барыней не живал, тот горя не видал, — петля, да и только! Тоска взяла. Вот приехал я в Ростов, да и был таков!

Что это, господа, подумаешь, на свете-то Божьем! Уж чем бы я не человек? так нет! — рад бы приняться за честное ремесло; не тут-то было! нет счастья в добрых делах!

Пересчитал я нажитые французским ре-

меслом денежки, — пятнадцать тысяч! — поехал в Москву, накупил товару, да и пустился торговать в Новороссийский золотой край. Приехал я в Кишинёв город. Там-то живут люди! все народ турецкой; — борода в чести! что двор, то праздник, что день, то масленица; по улицам пляски да музыка. Бывало, наймешь музыкантов, возьмешь красных девушек, да и пойдешь вдоль по Бургарии.

Торговалось хорошо, а гулялось еще лучше. Жил я барин барином, да по-господски и прожился. Из сапог в лапти не дорога доброму молодцу так и мне, из боярских хором не в убогий дом! Как бы, думаю, промыслить дворянскую грамоту? а чорт шепнул на ухо; приехал, говорит, из немечины какой-то боярин, стал по соседству, нарядись Логофетом Исправничим, да потребуй его бумаги, на отметку. Я и послушался; да к нему: мусье, давай паспорт, записать в полиции! Немец, ни слова не говоря, и отдай мне бумаги свои. Прощай, хозяйюшка Голда! нет снегу, нет и следу. В ночь отправился я во путь во дороженьку; пробрался в Дубосары; иду себе горе мыкаю по Подольской губернии. Доброму молодцу,

где ни стал, тут и стан; лег свернулся, встал встряхнулся. Дворянской, немецкой пашпорт есть; был Французом, буду и Немцем. Молчи, да молчи, всякой скажет, что Немец, и сам чорт не разберёт, какой поп крестил.

Припасы-то у меня повышли; приходится питаться умом, да разумом. Вот прохожу я большое селенье; вижу в стороне Шляхетской двор, — я прямо в хоромы. Сидит, важно, усатая Шляхта; я ему немецкой пашпорт в руки.

— А цо то есть? — а я ему: — У-гм, у-гм! — Догадался, что я немой.

Как вошла Панна, у меня было и язык сам заговорил. Вот как начали читать мой пашпорт, глаза на меня выставили: начитали, что я Цесарской Майор, барон, разных ордеров кавалер и богатый помещик. Смотрю — заходили за мной; угощать, да угощать: поят меня пьяным медом, а дочь так и ластится. Есть тут шашни! ну да ничего! на облупленных яйцах цыплят не высидишь. Проходит день, другой, третий; на четвертый накормили меня разными потравами, да печеньем; шляхта задушил меня венгерским; опьянел я, разгорелся добрый молодец, — смотрю, толь-

ко панна сидит около меня.

Эх, братцы! как приголубится красавица, хочется сладкое слово вымолвить! да язык наш, враг наш! прижал с горя панну Эвелину к сердцу... а отец в двери, а мать за, ним, да еще несколько человек шляхты; заголосили все: — А! Пан Барон, цурку облапил![1]...

— Allons, diable, travaille! — закричал французской часовой, перервав рассказ тюремного старосты и ударив его палкою.

— Ах, ты, собака, как больно дерется, а кажись в чем душа! Ну, на чем бишь я остановился?...да! вот и женили меня на панне Евелине.

— Не то, не то! ты еще не сказал, как ты присватался к ней — вскричала толпа слушателей.

— Ну, братцы, назад не вернусь. Что тут и спрашивать: как присватался? своим чередом, как водится, вошли, да и говорят: женись! призвали Ксёндза, да и вся недолга. Да не дураки верно были: написали в записи, что укрепляю за женой всю землю мою в Цесарской земле; подпиши, говорят; чего ж мне жалеть? я написал каряжулю, да и прав. Ну,

думаю, что ж мне теперь делать? не с женой же жить, да век молчать. Слышу, в Киеве контрактное дело. Там-то и погулять; — да как же взять у жены деньги? Просто взять не честно; да и как рассказать ей, что хочу ехать в Киев? Ухитрился: ночью, как заснула, а я ей в ухо: ступай в Киев? да и захраплю. — Цо, то есть? менжу? — Заснёт, а я опять: ступай в Киев! Что ж, братцы, ночи не переспала: смотрю, наутро и лошади готовы. Поднялись целым домом, приехали. Вот как приехали, я и подмышку женино приданое. Прихожу в жидовский трактир. Посылаю за лошадьми, куда привели; чорт и дерни меня по старой привычке выпить не в меру чаю с приливкой; да потом ещё: — чарочка дескать вина не море Соловецкое. Ну, захотелось сыграть во бильярты — и давай с каким-то Польским Паном на десять золотых партию. Одну продул, другую продул — забрало! а он еще окаянный поставил бутылку Шампанского, потом другую... гляжу, ау! денежки! Засадили меня отыгрываться на право на лево, потом, — подавай, говорят, проигранные пять тысяч золотых! а я — одного в ухо, другой на меня, я и

того! поднялся шум, гвалт; набежала полиция, да и прибрала меня доброго молодца. Кто ты? я было и подал свой паспорт баронской; а барона-то давно уж ищут по городу. Чорт знает, не помню, братцы, как это все произойти могло. Заснул я не к добру — проснулся — ан недолго было цветику во садике цвести! гляжу — на мне вериги. За пазухой ни денег, ни бумаг. Горе пришло! Ведут в ратушу к допросу. Я было прикинулся немым, куды-те! вся полиция голосит, что я целую ночь проговорил, да побранился по Русски. — Держали, держали меня, да и отправили в Москву, вишь будто я сонный величал себя Московским купцом. — Привезли, да и засадили во временную тюрьму. — Сначала, с непривычки, не понравилось, я было и тягу; прожил с месяц в тайниках Кремлевских. Одиножды пустилась было сова посмотреть на Божий день, — темнее ночи! а бутошник за ухо; ну, перекрестился, да и пошел на казенную квартиру. Что ж, братцы, говорить правду: уж если жить на свете без воли, так жить в тюрьме: что за народ! да народ-то все смышленной, веселой; слова даром не проронит, руки да-

ром не протянет! Вот, выбрали меня в тюремные старосты, — знатной чин! дурака заключенные не выберут. Одно только бывало грустно, одного только не испытал, братцы: не разбойничал на Волге широком раздолье. Бывало, как засядем рядом на широкую лавицу, да запоём:

Свистнули ветры по чистому полю!

Грянули вёслы по синему морю!

— так душа вон и просится! — так бы и искупался в Волге!

Век бы мне не попасть на волю; да окаянные Французы пришли; вот и выпустили всю нашу братью беречь Москву. Верите ли, господа! горько пришло расставаться с нарами да уж верно доля такая: нигде места не пригреть. В Понедельник-то поутру, знаете ли, нас выпустили, а после обеда нагрянули со всех сторон Французы. У Тверских ворот выстроились французские полки, да и давай делать развод; а наш народ и высыпь смотреть на них: думал, что свои.

Вот выехал один, верно Генерал, в синем,

шитом золотом мундире, да и говорит: Французской Император сердится, что дескать Московские обыватели не пошли к нему на поклон; кто из вас Голова, или староста? Никто нейдет, а один из наших тюремных и крикни, указывая на меня: да вот наш староста! ко мне и прицепились:

— Ступай к нашему Императору, веди с собой все купечество Московское на поклон; дворян он знать не хочет!

Что ты будешь делать! не отказываться стать; да и Французского-то Наполеона хотелось посмотреть. Вот я и выбрал, знаете, тут же, поудалее из наших.

Генерал и повел нас в дворец Петровский: — кругом все пушки, на часах усачи в высоких медвежьих шапках; — ввели нас в упокой приемной. Генеральства как собак.

Смотрим, велел позвать нас к себе. У меня и душа было дрогнула. Эх — думаю — высоко сокол залетел, выше солнца, выше месяца!

А как вошли мы, думаю: где ж он? ах ты Господи! да видали ли вы Французского Императора? Вот и весь-то такой, а глаза как у совы! оставил на нас, да и заговорил; а я, при-

знать, и поклониться забыл. Заговорил он сердито, да все притопывает ногою. Ни слова, братцы, не понял я из его разговору, а нечего делать, кланяюсь, да говорю: „Понимаю, батюшка, ваше Французское Величество, понимаю! Поля хранятся огородою, а люди воеводою!“ Верно понравилось ему: — взял, да и подошёл ко мне хотел было, знаете, потрепать меня по плечу, да не в меру пришелся; какой-то, догадливой, генерал-король, за него меня хлоп по спине, да и повел нас на Пречистенку в дом Княгини Голицыной, к какому-то собаке французскому Генералу-Губернатору Лесепсу. Врут они, думаю, кто его сделал Губернатором? Уж говорил, говорил, что-то по-своему; а, знаете, какой-то господин переводит: „Ты дескать будешь городской Головой, а вот это твои помощники; на вашем ответе будет полиция; уговаривайте народ везти в Москву хлеб и припасы; а теперь покуда ступайте с командой, да привезите сюда вина, молока, да масла.“ Мы поклонились, да и пошли себе. — „Видишь, говорим, нашли себе полицейскую команду! нет, брат! Послали за нами солдат; — а мы переговорили, зашли в

глухой переулочек, да как свистнем во все стороны — только нас и видели.

Да не долго летал сокол по поднебесью попал он навстречу трем усатым; содрали с него лыко, да еще и в работу повели. Вот вам, братцы, и вся недолга!

Теперь, видишь, говорят, Московским Головой Петр Иванович Находкин; доставил ли то он Французскому Генерал-Губернатору яиц да молока?“

Кончив рассказ, тюремный староста оглянулся: из караульных солдат осталось в тайнике только трое; прочие расположились у выхода на чистом воздухе.

Староста затянул песню.

*Под синим небом не пташка летает,
Не пташка летает, не ластовица;
По светлomu по миру воля гуляет,
Волюшка воля, красная доля!
Хотите ли, братцы, с нею сопознаться?
Хотите ли, други, с нею разгу-*

ляться?

Г олову на волю — подавайте выкуп;

Душу на раздолье — подавайте плату.

Есть ли у вас выкуп — могучия плечи?

Есть ли у вас плата — острый нож булатной?

— Дивная песня братцы! — вскричал староста тюремный, кончив петь. — Выкупим же волюшку! Слушайте: ступайте все в эти двери, не бойтесь; идите все вперед да вперед по подземному ходу, покуда стукнетесь лбом в заворот; — человека три с ломами останетесь со мной разделаться вот с этими медными лбами— их тут не много; кончу дело, догону вас и выведу на свет Божий. Ступайте! Светло-то оставьте здесь, мне оно нужнее.

С недоверчивостию, но все повиновались словам старосты; некогда было думать; а дело шло о свободе. Прошли сквозь железные двери далее под своды подземелья; на месте остался только тюремный староста и с ним трое дюжих с ломами.

В след за другими шли вдоль тайника

Аврелий и старый слуга его. Сырость, душный воздух и темнота, были страшны.

Вскоре позади послышалось, что железные двери заскрипели, раздался в подземелье глухой выстрел; чрез несколько минут староста и его товарищи прибежали также с факелом.

— Теперь, братцы, воля наша, только дай Бог ноги! Отсюда недалеко есть выход в канаву, к стороне Неглинной. Смотрите же, на улице все врозь, и береги всякой сам себя; а если кому охота со мной подняться на воинские хитрости, то приходи на сборное место, под Каменный мост, по ту сторону реки. Мы поможем избить супостата Француза! Ну, вот что, эге! вот и заворот! вот они и железные двери! нут-ко, в три лома! поотодвинем задвижку. Первой, другой! раз, два! подалась!

Заржавившая задвижка заскрипела, отодвинулась; веревка взвизгнула, двери отворились.

— Ну, с Богом!

На дворе уже потемнело; на бельведере дома Пашкова отсвечивался уже пожар. Аврелий и слуга его, в след за другими, спрыгнули в ров, бывший под Кремлевскою стеною.

— Держись за меня, барин; ты так слаб, — сказал старик Аврелию, проводя его вдоль канавы.

— Нет, Павел, не слаб я! С этой минуты во мне довольно твердости, чтоб переносить все. Я забыл собственную судьбу; меня наказало Небо безумием и страшными призраками за то, что во время общей беды я думал только о своем горе. Простой мужик, злодей по сердцу, преступник, хочет быть защитником отечества, а я...

— Тс! барин, едет конница французская! чу!.. Присядем здесь, подле стены, за дерево.

Французская кавалерия пронеслась; Аврелий и слуга его пустились опять вдоль набережной и исчезли в темноте и отдалении.

В Кремле, дворец ярко освещён; золотая глава Ивана Великого, то как будто загорится, то опять потухнет. На Спасской башне колокола уныло прозвонили четверти; раздалась вестовая пушка; в разных местах забил барабан и запела пикулина вечернюю зорю, — незнакомую Русскому обывателю Москвы.

Х

В исходе октября, около вечера, небольшой отряд, состоящий из драгун и казаков, пробирался без всяких кавалерийских правил через густой лес. По вспененным и фыркающим коням можно было заметить, что отряд только что вышел из дела. Впереди ехал офицер, которого мрачная наружность несколько не соответствовала молодости лет. Выбравшись па поляну, он остановил отряд, разослал во все стороны патрули, соскочил с коня, раскинул плащ по траве и бросился на землю. Солдаты и Казаки также спешили. Драгунский унтер-офицер подошёл к нему.

— Ваше Благородие, коней-то-чай, расседлывать нечего, а не позволите ли сварить кашу?

— Только не разводите большого огня; кругом неприятель.

— Уж какой тут большой огонь, Ваше Благородие! Всего-то сухарей— чай, не наберется на вьючный котелок.

— Завтра, может быть, воротимся в свой отряд, будем сыты.

— Дай Бог, Ваше Благородие! Полки неприятельские как стена крутом нас; хорошо, как найдем где щель. Господин Майор завел нас; сам положил голову, да и наши головы легли-бы, если-б не Ваше Благородие.

Офицер не отвечал. Подставив руку под голову, он, казалось, забылся.

Унтер-офицер возвратился к команде и велел ломать хворост.

Драгуны поняли приказ его здоровья; мигом наломали хворосту; вырубил огонь, разложили под котелок, засели вокруг огня, повели беседу.

— Ну, братцы, сказал кашевар, давай у кого что есть в манерках воды, а в мешочках сухарей. Эх ма! не много! поди-кась кто ни на есть, выбеги на дорогу, да набери водицы.

Несколько человек отправились с манерками на дорогу. После бывшего дождя на дороге стояли лужицы. Манерочными крышками собрали они отстой, наполнили манерки, возвратились к огню, и каша заварилась.

Казак, как люди посторонние драгунам, столпились в свой кружок.

— У них не было ни круп, ни сухарей.

— Что ж, братцы — сказал один казак, которого за отважность называли Бегидовцем — Драгуны-то кашу варят; а мы что? Без хлеба не приходится быть!

— Что-ж, кому-нибудь надо на фуражировку ехать, — отвечал урядник.

— Дело. Кругом деревни; как не добыть хлеба.

— Деревни! да заняты французом.

— Что-ж! Француз сам по себе, а мы сами по себе; по-ночи не усмотрят.

— Дело. Ну, кому-ж ехать?

— Ну-ка-сь, выломи хворостину, кинем жеребий: трем верхним.

— Ну!

— Нет, братцы — сказал Бегидовец — я без жеребья еду. Уж коли добывать, так добывать! Добуду — драгунам медным лбам понюхать не дам! Вишь, сами едят, и офицера не поподчуют! — Кто со мной охотники? Поедем ты, Вася, да ты Чюрюм.

— Нар иовьэ! аха! пойдем, брат, пойдем! — отвечал калмык Чюрюм, с густыми, повислыми усами, совершенно похожий на моржа.

Урядник с Бегидовцем отправились к офи-

целу просить дозволения.

— Ваше Благородие, дозволите казакам съездить хлеба промыслить.

— Что тебе? — спросил офицер очнувшись.

— Да так чего-нибудь на ужин, Ваше Благородие.

— Где-ж я возьму, мой друг?

— Да это уж наше дело где взять, дозвольте только съездить в ближнее село.

— Куда вы поедете: кругом нас неприятель.

— Что-ж, Ваше Благородие— отвечал Бегидовец — голодной смертью не приходится умирать; а без воли Божьей головы не снимут.

— Ступай, только осторожно; не выкажи дороги к нам.

— Покорнейше благодарим, Ваше Благородие! — произнес Бегидовец, очень довольный позволением.

— Ну, братцы, подтягивай подпруги! Хайд!

И вот Бегидовец, Вася и Калмык, вытянув коней нагайками, пустились вон из леса, как охотники за косым зайцем. Скоро выбрались они на торную дорогу, которая потянулась

мелким кустарником.

Вечер лег уже на мрачную окружную природу; луга и пахотные поля, покрытые припавшим к земле туманом, казались морем, отдаленные леса берегами, а селение, верстах в трех, обнесенное густою рощею, казалось островом. К нему-то торопились Бегидовец, казак Вася и калмык Чюрюм.

— Видишь, братцы, в селе огни.

— Огни, да не свои.

— Не свои, так французские, все равно. Французов выживем! — сказал Бегидовец.

— Экой ты пряткой; да там чай их полк! Смотри, кругом села пикеты... чу! покрикивают.

— Не бось, мы им подадим голос.

— Да что-ж ты, брат, хочешь делать? Аль сонного зелья им дать?

— Нет, просто глаза оморочу.

— Вот, примером, считай, сколько нас здесь?

— Да и всего-то трое.

— Врёт! три полка. Полк мой, полк Васькин, да Чюрюмов, калмыцкой полк.

— Ах ты Бегидовец окаянный! и нас то мо-

рочить хочет.

— Нет, не морочить; сам увидишь. Васькин полк да Чюрюмов полк спешу: без пехоты не приходится деревню брать; а с своим полком пойду в атаку.

— Мудрен человек! Сеахан хазык! славной казак! — сказал молчавший до сей поры калмык. Спрятай, брат, своя башка; жаль, француз режит такой башка!

— Ах ты калмыцкая ноха — собака!

— Да куда-ж ведешь ты нас? Деревня на ружейный выстрел; смотри, около огня пехотной пикет.

— Пехота-то нам и по руке. Тс! не бормочи же, пробирайся знай между деревьями.... Ну, стой теперь, братцы, спешивайся. Смотри-же: знаете вы, как ворон из-за угла пугают? Так пугнем мы и французов. Привязывай коней в кусты; а сами воровским ползком вдоль плетня, да межой, прокрадитесь в задворки. Ты, Вася, с одной стороны села, а ты, Чюрюм, с другой, заберитесь в овины, где побольше соломы, да и сиди; а как услышите выстрел, то и бегите от овина к овину, да запаливайте пистолями солому. Да смотри не робей, братцы;

между цепью прокатитесь вальком.

— Робеть-то не сробеем, да что ж из того будет?

— Мэдневэ! знаю! — вскричал Чюрюм; то по-нашему! пайдом, брат, пайдом!

— Ну, так и быть! — отвечал казак Вася; привязав коня, он перекрестился и, приклонясь к земле, пополз на карачках между полосами пахотной земли.

— Хаэрхын-Бурхун! — прошептал Чюрюм и пополз вслед за ним.

— С Богом! — сказал Бегидовец вслед товарищам, которые исчезали в темноте и в мезжах.

В это время, из-за черного леса, за селением, поднимался месяц, огромный, красный, как одевшееся лицо беспросыпного пьяницы. Вытаращив глаза и разинув рот, казалось, что он уже хлебнул из горького земного Океана, и окутываясь в лохмотья туч, собирался идти по миру.

— Пора! — прошептал сам себе Бегидовец, и вдруг, вытянув ногайкою коня своего, помчался к деревне с криком; хи, ха, хэ! — Стрелой пронесся он прямо к пикету, расположен-

ному перед деревней; несколько человек пешотинцев сидели вокруг огня и беззаботно курили трубки. Он, бух! прямо на них, пролетел через огонь, дернул в обе стороны по головам нагайкой, свистнул, гаркнул, крикнул: хи, ха, хо! и взвивал уже пыль вдоль по деревне, окутал улицу гамом и выстрелами из пистолетов.

Бегидовец был совершенно похож на сына Меркуриева, когда, во время похода Бахуса в Индию, он разогнал криком своим все неприятельское войско. Но Пану помогла его возлюбленная Эхо, отзывавшаяся со всех сторон тысячами голосов, а Бегидовцу никто не помог; он один кричал: хи, ха, хо! не хуже целого войска, когда оно бежит в атаку или лезет на стену.

В деревне только что расположился на кантонир-квартиры Баварский линейный пешотный полк; едва только отвел он душу от дальнего похода, закурил трубки и заговорил о своем родном, теплом климате и дивном Швейнфуртском вине, вдруг тревога, шум, крик, выстрелы, нападение, ужас! Поднялась суматоха, хватаются за ружья, бегут со всех

сторон на улицу, кричат Mein Gott! Mein Gott! толпятся на площадке перед господским домом, строятся в колонну и оттуда идут на Gtarfe rofition, за селением.

Огонь разлился по овинам, пышет, освещает окрестность: на высоте стоит неприятельское каре, держит ружья наготове, довольно собою, что внезапное нападение предупреждено; мужественные взоры светят, как искры готовые упасть на полку.

Между тем Бегидовец, сделав вольт в поле, воротился уже в оставленную неприятелем деревню, и распорядился в ней как победитель: шарил по углам, брал контрибуцию, вьючил коня всем годным, всем питательным, всем, что Бог посылал под руку.

Калмык Чюрюм также не теряет время. Заметив, что боярский дом оставлен неприятелем без надзора, он кинулся в него. Все двери на распашку, все готово к его посещению: комнаты освещены, в зале накрыт стол, уставлен кушаньем и вином; фарфор, хрусталь, серебро, разные вещи разбросаны. Чюрюм растерял глаза. „Арзэ! водка!“ — шепчет он сам себе, выхватив граненый графин

из серебряного судка, пьет. Кисло! — уксус ему не по сердцу: хлоп о землю. Ухватился за другой — горько! — горчичное масло не вкусно: хлоп о землю. Нэмыш-такя! — немецкая курица!“ — пробормотал она снова, сдернув за ногу огромную индейку с блюда и вцепившись зубами ей в крыло. Между тем глаза его рыщут по комнате, остановились на кованом ларце, стоявшем на столе. Хаэршин! ящик! — думает Чюрюм, бросив индейку и обхватив ларец; тяжел; скидывает его на плечо, а подле, на диване, сабля и пистолеты; сеахан юльдэ! славная сабля! вскрикивает Калмык, и протягивает к ней руку; а ларец бух с плеча, бац об пол, разлетелся в дребезги; дорожная посуда, бритвы, разная мелочь покатились по земле. Дз! — шипит Чюрюм, привешивая торопливо саблю и затыкая пистолеты за пояс.

Вдали послышался шум. Быстро, жадным взором окинул Калмык еще раз комнату, схватил стоявшую под стеклянным колпаком вазу, торопится вон, скользит по ступеням лестницы, споткнулся, грохнулся вместе с вазой об пол, вскочил, плюнул на черепки фарфора, и исчез между строениями двора бояр-

ского.

Казак Вася, с другой стороны селения, не так опрометчиво поступил: он забрался просто в избу, наклал в редно всего, что только нашёл годного для употребления в пищу, взвалил на плечи, схватил со стола отрезаны ломоть хлеба, и, стуча зубами как в барабан, отправлялся скорым шагом на соединение с главными силами в лес.

Бегидовец давно уже ожидал товарищей. Пришел Вася, запыхаясь, навьючил коня. Ждут Чюрюма. Является наконец Чюрюм, бежит.

— Что-ж ты с пустыми руками, калмыцкая харя!

— Пайдом брат, на конь, пайдом брат! Ахат баин! много добра! на барской дома!

— Нет, спасибо, калмык! вишь нашел простоволосых! отправляйся сам! Про глухова не две обедни! Едем, Вася.

Бегидовец и Вася засели на коней и отправились по опушке леса назад. Навьюченные кони их, как горбатые верблюды, едва переступали от тяжести.

— Дз, эх! — пробормотал калмык, отправ-

ляясь вслед за товарищами и бранясь по-своему.

Пожар деревни освещал окрестность. Луна поднялась на горизонт. В поле все было видно, как посреди белого дня.

Вдруг, впереди, послышались голоса. Казаки остановились. С поперечной дороги, из-за леса, показался небольшой кавалерийские отряд. Кони были навьючены; каждый солдат вел за собою на привязи корову, или теленка, как заводного коня.

— Неприятель! — сказал тихо Бегидовец, — верно с фуражировки! Вишь навьючились, словно наш брат Казак. Собаки! добро бы в своей земле!

— Аха, менюга санса! слушай, брат! — сказал калмык, — на ваша много добра, нам дугэ, — у меня, нет ничего! Стой здесь, я пайдот на эта ноха, собака, возьмут у них корова два.

— Что? корова два! — передразнил Бегидовец калмыка.

— Укюр хаир, корова два, брат, возьмут у пранцуз.

— Ах ты копченой! поди умойся сперва! ту-да же!..

— Моволлвэ, аха! нечестно брат! Калмык все делай, что прикажешь.

— Да тебя уколотят как собаку; смотри, их человек десятка три.

— Не знай брат считай я! — отвечал калмык сердито.

— Ну, ступай, делай что хочешь, посмотрим на твою удаль.

— Хэтыр халэ, смотри хорошо братцы, как я будут палил на пистоль, и ваша палил, гикай, кричи.

— Изволь, изволь, Чюрюм, — отвечали Бегидовец и Вася.

— Хаэрхын бурхун! дай Бог счастья! вскричал калмык, и пустился в поле. Конь его стлался по земле. Пыль взвилась золотой струей; казалось, что Чюрюм поднял всю дорогу на воздух.

Внезапно, как Божья немилость, наскочил он на отряд, гикнул, промчался около него как молния, сбил крайнего кавалериста тупым концом копья с седла, поворотил, ударил по лицу нагайкой другого, выпалил в третьего.

— Хи, ха, хо! — раздалось под лесом и

вслед за этим несколько выстрелов.

Неожиданное нападение навело панический страх на фуражиров; бросив заводную свою добычу, они пустились во весь опор. Оставленные коровы и телята, с испугу, кинулись вслед за ними. Не оглядываясь мчались французы, преследуемые стадом, и исчезли в глубине ночного отдаления.

Между тем калмык, возвратясь на поле победы, собирал уже трофеи, обшарил в карманах трех убитых им французов, поймал навьюченного коня и двух телят, и возвратился к своим товарищам.

— Ну, калмык! сказал правду, проворен малой! по-Бегидовски!

— По Сысоевски, брат, — отвечал калмык. Все равно, наш Давид Григорьич, как щука в море, не дремли карась; а по Сысовски: нагайкой просеку прокладывай, а конем неприятеля в землю втоптывай.

Шажком отправлялись казаки к отряду. Скоро выбрались они на дорогу лесом, приближались уже к тому месту, где расположен был отряд их.

Вдруг слышат топот коней. Свернули в сто-

рону. Смотрят: вслед за офицером, несется весь отряд их во весь опор.

— Стой, брат, стой! — закричали они казаку, который немного приотстал.

— Куда вы, а мы всего навезли!

— Сами не ведаем, — отвечал казак, — мы было вздремнули, вдруг офицер вскочил, крикнул: коня! и мы на коней, да и помчались Бог весть куда.

— Эх, горе!» вскричал Бегидовец.

— Дз! эх, недобре! — вскричал Чюрюм.

— Эх! — повторил казак Вася, и все трое, вздыхая, торопливо развьючили коней, бросили добычу. Калмык отхватил саблей у заводного теленка мягкую часть задней ноги, заложил под подушку седла.... Сели, поскакали вслед за отрядом.

Выбравшись в чистое поле, офицер вдруг остановился.

— Видите-ли? — вскричал он.

— Видим, Ваше Благородие, пожар в селе; — отвечал урядник, не отставший с своими казаками от него.

— Это горит Россия! — продолжал офицер диким голосом; — искры пожара падают мне

на сердце.... Враги хотят пробраться в душу.... Тень стелется по Русской земле.... Страшный человек заслонил наше солнце.... Но, сбросим его в глубину морскую, в глубину, чтоб он не обратился в скалу подводную....

— Смотрите, друзья, на это два глаза: они смотрят на все земное пространство; но и они закроются навсегда, и их пламенный взор потухнет как падучая звезда!.. Видите-ли?...

Весь отряд безмолвно устремил глаза на пожар села.

— И в правду, братцы, смотри-ко, село горит с двух сторон, словно два ока! сказал один из казаков.

— Видите ли, — продолжал офицер — эту глубокую думу? Это дума одного человека, одного только; он хочет слить мысли всех людей в одну мысль, хочет населить восток, юг, запад и север своей одной душою!.. Но эта страшная дума в нем родилась, в нем взлелеяна, в нем и погибнет, не воплощенная! Видите ли?

Весь отряд всматривался в отдаленный пожар села.

— И то, братцы, смотри какой дым, так и

клубит, так и стелется по полю!

— Мы стрелы Русского грома — продолжал офицер. — Поразим врагов наших! Слышите-ли?

— Слушаем, Ваше Благородие! — прокричал отряд.

Офицер понесся как миг, по полю, прямо к горящему селу. Весь отряд мчался за ним, как метелица. Пронеслись чрез пылающее село. За селом, на возвышении, неприятельский знакомый Бегидовцу, Васе и Чюрюму, полк пехоты; долго стоял он в каре, в ожидании нападения, наконец успокоился и расположился на биваках.

— Смотри, Вася, — вскричал Бегидовец, — то наши пуганые вороны! Гикнем, братцы, ура!

— Ура! — повторил весь отряд, и обсыпав неприятельский полк, потушил собою несколько выстрелов; крошит, сечет саблями, нижет на пики.

— Pardon! — кричат неприятельские солдаты, бросив ружья.

— Пардон так пардон, стой братцы! безоружных не бьют! — вскричал урядник. —

Спросим у Его Благородия, что с ними делать?

— Да где же Его Благородие? Уж не убит ли, братцы?

Ищут офицера. Находят распростёртого на земле, между грудой тел неприятельских.

— Убит, братцы! Вот он!.. Ой нет! оглушило только... дышет...

Офицер открыл глаза.

— Утро! — вскричал он; — пора! мы проспали!..

— Никак нет, не проспали, Ваше Благородие! Весь полк в руках, да две пушки, — сказал урядник.

— Что прикажете делать с пленными?...

Офицер, не отвечая, привстал, обвел кругом себя взорами, закрыл руками глаза.

— Ничего не знаю! ничего не помню! новое беспамятство, безумие! Что со мною делается! — произнес он.

— Вот, братцы, как оглушило: по сию пору не придет в себя Его Благородие, — шептали между собою казаки.

— Так как-же, Ваше Благородие, приколоть всех на месте, иль вести в отряд? — повторил урядник.

— В отряд!.. Коня моего! — произнес офицер. — Ваш подвиг, вам слава и награда, друзья.

— Покорнейше благодарим Ваше Благородие.

Отряд сел на коней, окружил пленных, и потянулся рысцой, подгоняя нагайками и палатами бедную пехоту.

Калмык Чюрюм затынул диким заунывным голосом:

*Тёель сээгн чикаттэ,
Тёель тё хар эван унулаввэ.*

— про доброго, смышлёного молодца, как он на длинноухом карем коне с белою звездой во лбу, отправлялся из похода к своему Ноину — Государю.

ЧАСТЬ II

I

На одном из островов Средиземного моря родился человек для того, чтоб умереть на одном из островов Атлантического Океана; но путь этого человека от жизни к смерти был велик, дивен, завиден и страшен.

Все современное человечество знало этого человека, потому, что он хотел быть властелином всего человечества.

Люди говорили, что он есть предвестник конца мира; а рок, давший ему силу и власть, убоился собственного своего творения, и только хитростию успел вырвать из рук его то могущество, которое не предназначено Провидением человеку.

Вознесенный судьбою и честолюбием выше пределов, где иссякает дыхание человеческое, он думал силою своею нарушить даже закон земного притяжения, — но, на заветных стенах Кремля, в первый раз вздохнул этот человек глубоко тяжело, увидев заходя-

щее светило дня и вечеряющее свое счастье.

Как заблудившийся путник убоился, и он темной ночи и отдаленной грозы и заторопился к убежищу; но ночь и гроза застали его на пути, яростные потоки занесли его в море. Взошла луна; он принял ее за новый дарованный ему день; собрал последние силы свои, выбился на родной берег; но горные потоки снова смыли его, как прах с лица земли, а морские волны выбросили на дикую скалу.

На этой скале лежит отломок столпа Геркулесова, с новою надписью.

7 числа октября 1812 года, Император Французов, под прикрытием гвардии и вечеряющего дня, оставил пепелище Москвы. Здание его величия, новый столп Вавилона разрушен невидимою рукою. Огненная слеза брызнула как искра от огнива, из уст посыпались жалобы на судьбу, и с человека спала личина божества, — и он стал беден, жалок, несчастлив, малодушен, как последний из рабов земных, как преступник, окованный железными цепями обстоятельств.

Русский барабан бил сбор после победы

при Малоярославце.

В одну избу селения Ильинки принесли на носилках двух раненых Офицеров. Полковой лекарь, перевязав им раны, отправился к другим, требующим помощи, и они остались одни.

Первые раны, полученные во время победы, считаются несчастьем потому только, что лишают возможности разделять новые подвиги товарищей. Спросите у юного воина, простреленного насквозь, изрубленного, изувеченного, что чувствует он сильнее: боль, или тоску по новой славе и опасностям, предстоящим его сослуживцам? Его мучит одно нетерпение, одна жажда к битве, и он готов сорвать перевязки с ран своих, чтоб лететь снова в ряды, в атаку, в штыки, под пули, под ядра, под сверкающие сабли. Одного только молил бы он Бога избавить его: траншеи, да грустной стоянки под крепостями. Нет, русской не умеет ни нападать исподтишка, ни рыться кротом под землей, ни хитрить, ни кривить душою даже перед неприятелем, ни высиживать победу на яйцах... нет! дайте ему в начальники: ура ребята! и он перегонит эхо

своего голоса, вломится в крепость как потоп, врежется в ряды неприятельские как острый штык между ребер.

Два раненых офицера, о которых идет здесь дело, были молоды. В них только-что разгорелась, душа к славе.

Но один был задумчив, другой пылок.

— Друг, Аврелий, ты слишком жертвуешь собою, — сказал один из них. — Счастлив я, что успел отвести от тебя Французский палаш, но от двух пуль не мог спасти. Какое-то отчаяние влечёт тебя на гибель, тайное горе всегда заметно на лице твоём: оно тяготит тебя; но неужели ты столько малодушен, что желаешь сбросить его с себя вместе с жизнью?...

— Нет, Белосельский, я хотел только вознаградить то время, в которое я принадлежав отечеству, не был под знаменем общего восстания на врага.

— Но, если обстоятельства заставили тебя опоздать вступить в военную службу.

— В настоящем положении России, для того нет оправдания, кто не вооружился мечем и не стал в ряды соотечественников.

— Не более как в один месяц ты сделал столько подвигов, что два чина и Георгиевский крест не вполне еще вознаградили твои заслуги. Это повторяют тебе все. Но друг твой в одном только сомневается: в твоей душе скрывается тайна, презрение к жизни. Может быть, ты сам этого не замечает: какое-нибудь несчастье помрачило для тебя все надежды будущность; я даже уверен... признайся, Аврелий... любовь?

— Любовь? — повторил Аврелий невнимательно, и вдруг как будто вспомнив что то, он задумался, глубоко вздохнул.

— Нет, — продолжал он успокоясь, — я не знал этого чувства...

— Желал бы тебе верить; но ты смутился при этом слове: оно тебе напомнило что-то...

— Может быть обещание, клятву не знать любви.

— Аврелий, подобные клятвы даются только в минуты ропота на любовь. Хоть я и сам не избрал еще женщины, которой мог бы сказать: я люблю тебя; но я очень знаю, что любовь к женщине есть та искра, которая обнимает пламенным чувством семейство, от се-

мейства разгорается в целом союзе общества, от общества переходит в союз целого народа, от союза народного распространяется по всему человечеству, от человечества сливается со всей природой, с целым миром, со всей вселенной. Сия-то искра есть часть божества, дар смертному, который должен раздувать ее, возжигать ею все, что его окружает.

Я не так понял любовь к женщине, когда один близкий мне человек сказал мне, что женщина есть дитя, а мужчина его игрушка, — и подтвердил это собственной своей судьбой.

— И так, не собственное, а чужое несчастье, чужая бедственная любовь подействовала так ужасно на твою душу?

— Да, может быть, потому что собственно-го горя я сам не постигаю, не верю тому, что со мной сбылось в несколько, можно сказать, мгновений; если бы я решился рассказать кому-нибудь, меня бы почли за полоумного, посоветовали бы мне справиться в соннике, что значит мое видение.

— Ты подстрекнул любопытство мое; но верь, что дружба снисходительна...

— Слушай же; но не требуй связи и смысла в словах моих. Вот моя жизнь. У меня есть отец, матери своей я не помню....

«Отец воспитал меня сам; он хотел поселить во мне страсть к наукам, предпочтительно к таким, которые похожи на бездну, из которой видны только миры, плавающие в небе. В глубине их он желал скрыть меня от бед и горя, неизбежных на земной поверхности.

— Сын мой— часто говорил он мне, — много испытал я в жизни горького, тяжела жизнь в обществе, трудно зависеть от людей. Счастлив тот, кто может посвятить себя уединению, и в уединении найти пищу для себя и пользу для людей. Но не уединение пустычника, или инока, отчужденного от света, считаю я благом, а уединение ученого, беседу с веками прошедшими, с людьми отжившими, с небом.... О, на этой голубой странице, исписанной звездами, много тайн, много пищи для созерцательного ума! Углубляясь над этой дивной книгой, в которой нет ни начала, ни конца, душа так спокойна, так далека от ничтожных забот жизни, что это состояние

можно назвать лучшим, постояннойшим, безгрешным блаженством. Только в нем не тронет тебя не зависть людей, ни любовь их, ни ненависть. И ты не позавидуешь людям: сокровище твое, познание, неисчерпаемо; а их сокровище золото, металл, на который покупается бедность и грех...

Так говорил мне отец мой, отправляя меня в Московский Университет.

Я полюбил науки, предался вполне Астрономии, полюбил небо и забыл землю. Не обвиняю отца моего, но я наказан за страсть к наукам. В сердце человека есть союз с людьми, таится искра — для которой нужна пища, скрывающаяся в душе и сердце другого существа; но я не испытал любви, — ее называют блаженством! — я испытал только безумие, боль, видел призрак, который, как будто живое существо, насмехался надо мною, являясь и наяву, и во сне, и днем, и ночью; я жил двойною жизнью. Видел женщину, прикасался к ней; но где ее видел? кто она? — этого не объяснит моя память, это выше моих понятий! Это странный сон, скажут мне; но может ли перебросить сон из равнодушия к чувству

пламенному, из тишины в недра бури?»

— До сих пор все слова твои, Аврелий, чудны; но неужели память нисколько не объясняет тебе всего случившегося? — сказал Белосельский.

— Точно также объясняет, как Роланду, потерявшему свой рассудок и отыскивающему его в мире волшебном. Слушай: Нисколько не обращая внимания на то, что делалось не только в мире, в России, но и вокруг меня, я сидел однажды, углубленный в вычисление течения светил. Кажется, что сухие думы изысканий математических, не мечты, которые могут мгновенно перенести человека в очарованный мир, но, я не ведаю каким образом, очутился я в неизвестном мне доме, у ног такого существа, друг, Поль, такого существа, которое, кажется, не может дышать тяжелым земным воздухом; я еще не успел привести в порядок своих мыслей, не успел всмотреться в её красоту... раздался чей-то голос; ясно произнес он: Лидия! и — видение мое исчезло! Полный недоумения, слышу я голоса приближающихся людей. Страх заставляет меня, как преступника, искать выхода, я выскакиваю в

открытое окно, и память моя как будто исчезает вместе со мною в пучине.

Только на утро очнулся я; не успел еще совершенно придти в себя, как добрый мой слуга Павел увлек меня вон из Москвы. Я шел, но мне казалось, что природа, люди, чувства, память, рассудок, все обращалось в первобытный хаос, все мчалось, клубилось, как будто гонимое ветрами, во всем изображалось непонятное страдание, подобное тому, которым был, и я исполнен. Настала ночь; в каком-то бреде распутывал я клубящуюся передо мною глыбу разноцветных нитей; вдруг обдало меня огнем; мне казалось, что какая-то сверхъестественная сила перенесла меня в ад и сдала с рук на руки каким-то чудовищам. Представь себе, Белосельский, состояние живого человека, который убежден, что он уже за гробом, в новой жизни, которому пожар Москвы кажется адом, а окружающие его люди демонами. В этом положении был я до нового пробуждения, или бесчувствия, до нового сна, или припадка безумия. Самому себе не дам я ни в чем отчета. Помню только, что я очнулся посреди улицы, как бро-

шенный труп, помню, что подошёл к своему дому и в воротах поразил слух мой вопль женщины. И эта женщина была Лидия. Помню и как помню! отец её защищал честь дочери от какого-то чудовища — и изнемогал; мое появление ободрило его: противник убит на повал, но и бедный старик смертельно ранен. Умирая, поручил он мне дочь свою — свою Лидию! и я насильно оторвал ее от умирающего отца, чтоб скрыть от приближающихся Французов. Я слышал жалобы, видел слезы этого Ангела Лидии, её беспамятство в объятиях умирающей матери, и снова, насильно, оторвал ее от умирающей матери, чтоб вынести из пламени, который обдал тот дом, где мы были. Я нес ее на руках моих, шел сам не ведая куда, торопился, боялся, чтоб судьба не догнала меня и не лишила снова добычи, не вырвала Лидии вместе с сердцем моим и не бросила снова труп мой на жертву существования, в котором нет Лидии!

Помнится, мне, если это не бред всех чувств моих, возмущившихся против души и насмехающихся над её страданиями, помнится мне, что я выбежал в поле и видел вдали

церковь, озаренную светом пожара. Я бежал к ней как мертвец, уносящий Людмилу на кладбище... и это точно было кладбище — и я сложил мою ношу на свежую могилу, упал без сил и памяти....

Аврелий не мог продолжать далее: слезы брызнули из глаз его.

— Друг мой, — сказал Белосельский, — тебя тревожит призрак воображения: это сон, совершенно сходный со сном влюбленной Людмилы; я уверен, что ты проснулся не на кладбище...

— Странно было бы мне разуверять уверенность твою!.. Да, Белосельский, я проснулся не на кладбище, а в Москве, с завязанными руками, на Моросейке, в доме Графа Румянцова, в Комитете Городского Правления, учрежденного неприятелем. Там обвинили меня в зажигательстве Москвы и прочитали уже приговор повесить на фонаре; но Голова Находкин, зная лично отца моего, спас меня от виселицы. Меня привели в башню, где содержалась толпа Русских пленников разных состояний людей, употребляемых в работу. Между ними встретил я своего доброго дядь-

ку, который, отыскивая меня по Москве, также попал в плен. Через несколько дней, во время которых заставляли нас очищать ходы в подземельях Кремлёвских, воспользовавшись слабым надзором французов, мы ушли, и обязаны своим спасением отчаянному арестанту временной тюрьмы, выпущенному на волю пред вступлением французов. Выбравшись из подземелий во время ночи, я вышел из Москвы с моим Павлом, явился в казацкий отряд Иловайского, и, пожелав вступить в службу, был принят Волонтером. Командировка в главную квартиру армии, успех данных мне поручений и сражение при Тарутине, обратили на меня внимание, которого в сущности я был недостоин. Я был храбр во время безумия; я искал смерти: мне казалось, что только за гробом встречу я опять Лидию. О, я торопился умереть!.. Судьба хранила меня, а ты спас меня, Белосельский!

Аврелий остановился, глубоко вздохнул.

— Друг, Аврелий! — сказал Белосельский, — вздох твой, может быть, упрекает меня; но если-б я и знал твое странное желание, то и тогда бы не допустил коснуться до тебя

французскому палашу, ибо на тебя не потеряли еще права свои отечество и дружба.

Продолжение разговора Аврелия с Белосельским было прервано приходом старого Павла, который во время сражения находился в вагенбурге, в нескольких верстах от поля битвы; с слезами на глазах вбежал он в комнату, бросился на колени перед постелью Аврелия и зарыдал. Слова Аврелия успокоили его; а уверения вошедшего доктора что, хотя раны Аврелия велики, требуют долгого лечения, но не опасны — прояснили лице доброго старика.

На правом берегу р. Оки, за Серпуховым было, вероятно и теперь есть, селение, которого название да позволит мне читатель скрыть. Господский двор этого селения составляли следующие особы: сам помещик, человек богатый и больной; жена его, добрая, радушная женщина; дочь их, милая, огненная Евгения, девушка пятнадцати лет; брат хозяйки, чистая душа; подслеповатая Анфиса Гурьевна — непорочное сердце, соседка, вечная гостья; и только, — за исключением большой дворни, старых мамушек, бывших нянюшек, горничных девушек, трехаршинных малых, ленивых слуг, грубиянов холопов, сонных лакеев, Гришек, Федек, Ванек, Васек и проч. и проч....

Известие о приближении французов к Серпухову всполошило всех, все было на стороже, наготове к выезду; но поворот неприятеля от Малоярославца успокоил всех, и всё приняло прежнее положение. Вещи были расставлены снова по своим местам, платье развешано по крючкам, белье уложено по комо-

дам, посуда уставлена по шкафам, Китайские чашки по столам в гостиных. Помещик, сняв с головы шапку, а с ног медвежьи сапоги, снова поместился в подушки; добрая барыня села на свое место перед столиком у окошка, вязать теплую фуфайку; Анфиса Гурьевна подле нее начала опять тасовать обитую колоду карт, пересказывать былое, гадать про француза и про всех знакомых: живы ли, здоровы ли, когда приедут в дом, когда им будет дорога, скоро ли женятся или выйдут замуж и т. д. Брат хозяйки, отставной закоренелый холостяк, запалил трубку и по обыкновению стал думать и рассуждать со встречным и поперечным о доходах, которые можно иметь от мельниц. А Евгения, едва только вышедшая из пансиона и пользовавшаяся еще правом свободы как гостя, по прежнему, не посидя на месте, стала носиться мотыльком по комнатам, прыгать, хохотать, петь, играть на фортепиано, помогать маменьке вязать фуфайку, метать разложенные карты Анфисе Гурьевне потихоньку выдергивать у старой няньки вязальную иголку из чулка, уносить у ключницы очки, без которых она не могла

найти место ключа в замке, рядиться в дя-
дюшкин кафтан и шапку, и сердить подслепо-
ватую Анфису Гурьевну, которая, принимая
ее за Савелия Ивановича, заводила разговор о
женитьбе и, раскладывая карты, говорила,
что одна достойная особа давно уже постоян-
но его любит и составила бы его счастье.

Евгения была невинное, доброе, веселое,
беззаботное, простодушное, счастливое созда-
ние, каких редко встречают на земном шаре.
Однажды все семейство чинно сидело в зале
и внимательно слушало гаданье Анфисы Гу-
рьевны про сына хозяев, служившего в воен-
ной службе.

— Вот, сударыня моя, смотрите... раз, два,
три... раз, два, три... девять, тринадцать... до-
рога в дом еще не скоро!

— Не скоро? — вскричала хозяйка.

— Раз, два... пять... девять, тринадцать...
Царская милость!.. десять, одиннадцать... три-
надцать... в какой-то большой кампании!

— В кампании! да, на войне все в кампа-
нии, Анфиса Гурьевна! — возразил Савелий
Иванович.

— Со всем не то, Савелий Иванович. Вот,

изволите видеть: тут все дамская кампания, вот червонная вот и трефовая — марьяж, ба-
тюшка!..

— Будет вам гадать о братце! — вскричала
Евгения, вскочив с места, и сметав разложен-
ные карты. — Я сердита на вас: вы сказали,
что братец не скоро приедет из похода! Этого
я не хочу! — Анфиса Гурьевна, лучше пога-
дайте мне, скоро ли я выйду замуж!

— Ох, Евгения Павловна, это уж и не годит-
ся! мешать карты! они иногда говорят правду.

— Миленькая Анфиса Гурьевна! погадайте
мне.

— Пора бы однако ж получить письмо от
Поля!

— Помилуй, матушка, до письма ли. поход-
ному человеку! — Лишь бы служил с честью
и славой, да был здоров, а то по мне хоть со-
всем не пиши.

— Вы все отцы таковы, а материнское
сердце болит да болит.

— Знаете, маменька, я видела сего дня
братца во сне; что будто перед ним стоит кто-
то и машет крыльями...

— Что ж это такое? мельница? — перервал

Евгению дядя её.

— Нет, дядюшка, привидение, — страшное! я испугалась и проснулась.

— Какое привидение, душа моя: — уж коли рыцарь Дон-Кишот наяву принял мельницу за великанов, так тебе во сне и подавно мельница могла показаться за привидение.

— Дядюшка, дядюшка, да я с роду и не видывала мельниц: в Москве их совсем нет; — знаю только, что нас учили: по-французски мельница moulin; да инспекторша называла некоторых из нас мельницами.

— И ты большая мельница, душа моя!

— Вы, дядюшка, говорили, что у мельницы крылья; — дайте мне крылья! О, я сей час полечу!

— Какова мельница, друг мой, у иной нет крыльев; например, у водяной мельницы: в состав её входят колесы, шестерня, жернов, кулачное колесо.... Кажется, я и при тебе не раз говорил, что я намерен построить мельницу о шести поставах; шестерня будет состоять из 40 цевок. Это будет чудо в нашей стороне! Вообразите, Анфиса Гурьевна....

— Что прикажете, Савелий Иванович.

— Я уже выписал и жернова, да на моей земле воды нет.

— Вы мне про это ничего не говорили, дядюшка. Ах, да! помню, помню! вы говорили, что вы построите о шести постовах кофейную мельницу...

— Не то, душа моя! в роде кофейной; но так, чтоб ручку двигала вода; разница будет только в кулачном колесе, в валах, да в воронке, Воронка будет цилиндрическая, как самоварная труба; жернова будут чугунные и стоять вертикально; а лопаты совки, веретены...

Савелий Иванович не успел еще кончить своей речи, вдруг раздался на дворе звон почтового колокольчика. Все замолкли, прислушивались к звуку.

— Не братец ли? — вскричала Евгения, вспыхнув от одной этой мысли.

Вбежал слуга.

— От молодого барина денщик приехал! — произнес он, запыхаясь....

— Где, где? — вскричала Евгения, и бросилась в двери.

Савелий Иванович последовал за нею; все

прочие остались, едва переводя дух от неожиданности.

— Господи Боже мой! что это значит? Жив ли мой Полюшка? — повторяла помещица.

— Ах, матушка, успокойтесь! и В его ли лета умирать! Ваши родительские молитвы сохранят его и в беде, и в напасти!.. — повторяла Анфиса Гурьевна.

— Желательно знать, что бы значил этот нарочной? — повторял сам помещик, охая от боли в боку и перекладывая ногу на ногу.

Между тем, Евгения успела уже выбежать на крыльцо, вырвать письмо из рук Улана, обсыпать его вопросами на счет своего брата и, перебивая слова его вскрикивать:

— Ранен! как ранен? когда, кто его ранил? для чего?... Едет сюда? Ах, братец едет сюда! какое счастье?... С кем говорить ты? — с Юрьегорским? — Кто это такой?... Офицер? Зачем же он едет?... Также ранен? ах, бедной! — Простой же, постой, постой, пойдем к маменьке, сам Расскажи ей!..

И вот Евгения вбежала в комнату, и бросилась к матери и с словами: братец едет! обняла ее, отдала письмо, торопливо вырвала его

опять из рук её, распечатала, развернула и вложив в руки матери, стала у ней за стулом и начала читать вслух.

Письмо заключало тоже, что Евгения выспросила у Улана; между прочим, Поль рекомендовал отцу и матери Аврелия Юрьегорского, своего друга и сослуживца, и просил принять его ласково и приветливо.

Обычная тишина в доме снова нарушилась. Евгения сама вызвалась убирать комнату для приезда своего брата и его друга. Суетилась, бегала, сама надевала бахромчатые чехлы на подушки, устанавливала вещи в порядок, приколола булавочками к обоям рисунки своей работы: Европу, Азию, Африку и Америку, l'innocence, la belle Espagnole, четыре времени года в лицах, и тьму других голов и изображений. В уверенности, что братец и гость его любят чтение, оставила она стол книгами, которые наскоро выбрала из домашней библиотеки, по хорошему переплету; тут попали:

Евфемиион, или юноша образующий сердце свое похвальными и достойными подражания примерами...

Любовный лексикон.

Любовная Школа, или подробное изъяснение всех степеней и таинств любовной науки. — М. в. Ун. Тип. 1791 года.

Смеющийся Демокрит, или поле честных увеселений, с поруганием меланхолии, перев. с лат.

Подлинное известие о славнейшей крепости, называемой *Склонность*.... Георга Беккера. Пер. Б. М.

Между работой задала Евгения работу и Анфисе Гурьевне: гадать, какой мужчина придет с братцем Подем? черноволосый или белокурый, с голубыми глазами, или с черными?

Между тем как Анфиса Гурьевна раскладывала карты и считала указательным пальцем правой руки по направлению к левой, от 1-го до 13-ти и обратно, задавая про себя вопросы: не жених ли трефовый король червонной даме, лежит ли подле него бубновая десятка, означающая богатство и червонная семерка — любовные мысли? — сама хозяйка распорядилась о столе, приказывая прибавить к

обеду вафли, а для десерта вынуть из чулана варенье и разложить на фарфоровые блюдечки. Слуги, служанки, всегда усердные — перед приходом гостей — участвовать в общих хлопотах и приготовлениях, толкать друг друга, метать друг другу, кричать друг на друга, спорить и готовить пир горой и разливанное море, подняв содом, перебили несколько тарелок, стаканов и рюмок и наконец выбежали к воротам глазеть на даль, в ожидании молодого барина.

Когда хлопоты были кончены, нетерпеливое чинное ожидание заняло всех. Принарядившись, все утихло, уселись по местам, и Евгения, подобно всем, утихла, и ее стали беспокоить мысли: кто этот друг брата? хорош ли собою, молод ли?

Вопрос, сделанный ей мамушками, нянюшками и горничными девушками: «кто ж это такой, сударыня, что едет с братцем? Уж не жениха ли он вам везет?» стало повторять и собственное её сердце; оно же стало понемногу делать логические выводы по соображениям и придумывать ответы. Верно братец не подружится с каким-нибудь уродом, или

стариком. Верно у его друга также доброе сердце, как у него самого. Кого любит братец, того и я должна любить, потому что я люблю братца; а кто любит братца, тот должен любить и меня. Но... братец может любить меня только за доброе сердце; понравлюсь ли я его другу?

Последний вопрос, произнесенный в глубине души, обратился во вздох и вылетел из уст Евгении. Она вскочила с места, подбежала к зеркалу. Румянец играл на щеках её; быстрые черные глаза наполнились, как будто блистающими слезами, темные локоны волос отражали на себе свет дня, как полированные из черного мрамора. Счастливая наружность Евгении была одна из тех, которые никогда не стареют, в которых живость, нежность, румянец, белизна, приятность, вечны.

— Ко мне не пристало голубое платье! — вскричала она и побежала в свою комнату перебирать и примеривать снова другие свои платья.

III

Прошел час обеденный; на сельской колокольне ударили к вечерне, а ожидаемых гостей еще нет, вопреки словам передового, который сказал, что едут в след за ним. В кухне все пережарилось, перепеклось, переварилось и наконец остыло; а обедать никто и не думал, все сидели около Анфисы Гурьевны, которая гадала, что случилось с дорожными. Евгения присмирела; при малейшем стуке, или шуме на дворе, подбегала к окну и возвращалась к столику, упрашивая Анфису Гурьевну еще раз разложить карты. Уже смерклось; беспокойство возрастало с каждым мгновением, только Савелий Иванович, по-прежнему, спокойно пыхтел, похаживая с трубкою в руках по комнате, и строил в голове мельницу о бесконечном числе поставов, которая приводилась бы в движение совокупной силою ветров, воды и лошадей; тысячи жерновов работали уже в воображении изобретателя, огромная шестерня била такту, перебирая зубцы колес, мука лилась как поток по желобу; вдруг голос сестры перервал золо-

тые мечты Савелия Ивановича.

— Братец, — сказала беспокойная помещица, — возьми дормез и поезжай на встречу к моему Полю. Не к добру заболело материнское сердце: не случилось ли чего с сыном!

— Поезжайте скорее, дядюшка! — вскричала и Евгения, бросившись на шею к Савелию Ивановичу. — Я сошью вам мешок на муку для вашей мельницы и подарю вам мою головную сеточку, помните, ту, которая, говорили вы, хороша для сита, очищать зерны....

В другое время предложение Евгении рассмешило бы всех, но тут оно было подтверждено самим помещиком, который обещал согласиться построить мельницу по плану Савелия Ивановича.

— Давно бы хватился, брат! — произнес важно Савелий Иванович. — Если б послушал меня, мельница принесла бы уж теперь не одну тысячу дохода. Так нет! вовремя надумался! Зима на дворе, много ли настроить теперь!

Упреки Савелия Ивановича на потерянное время к постройке мельницы, были остановлены новыми общими просьбами ехать ско-

рее на встречу к Полю.

— Оно так! — говорил он; — Да что по ночи увидишь? Не лучше ли до утра отложить. Кстати, по пути, осмотрел бы я место, где удобно поставить мельницу! — как вы думаете?

Предложение Савелия Ивановича не слушали; карета была готова; сама Евгения надела на него соболью шапку и потащила в переднюю, где ожидавший малый накинул на него шубу, а двое других повели под руки с лестницы, подняли на подножки, втолкнули в дормез, захлопнули дверцы; денщик сел с кучером на козлы, двое слуг стали на запятки, бич хлопнул, и четверка коней понеслась, в след за верховым с фонарем, по дороге к Серпухову.

IV

Куда ни брось, куда ни кинь человека подобного Савелию Ивановичу, он везде будет спать, или строить мельницу. Впрочем, у кого нет любимой цели, в которой не видел бы он своей славы, вооруженной рогом изобилия и окруженной играми и смехами? Для ума великого, своенравного, видимый мир тесен, беден, как не перенести себя в тот мир, в котором живет мысль, который так обширен, богат, где все нипочем;—где все живет, все растет, высится, красится; где целые хребты сокровищ ждут щедрости и расточительности; где не источники, а целые моря богатств, надежд, славы и желаний; где нет ничему ни основания, ни начала, ни конца, ни причины; где глухой все слышит, слепой все видит, раб царствует, бессильный ворочает мирами; где всякому весело как в добровольных гостях, беззаботно как во сне, тепло как в пламенных объятиях любви, безопасно как в могиле, просторно как в постоянном сердце.

В этом-то мире Савелий Иванович спокой-

но строил свою мельницу, за неимением средств и собственной земли в мире вещественном. Доставшееся ему наследство он обратил в деньги и прожил на модель мельницы, которую в продолжении пяти лет делал и переделывал ему в Москве один Немец механик и которая, к несчастью Савелия Ивановича и всех земных мельников, сторела в пожаре Московском. Таким образом разорённый дотла, он приехал к сестре своей в деревню и жил, создавая в голове своей новый прожект, более огромный, более совершенный, и предлагая зятю своему исполнение по оному. Но, предложения его отвергались, как мы видели, до самой поездки на встречу племяннику Полю.

Между тем как Савелий Иванович сонный перекатывался в дормезе со стороны на сторону, Поль в селе Нечаеве, с подвязанной рукою и поддерживаясь костылем, сидел в отчаянии над беспмятным Аврелием, забывая собственную боль от растревоженных ран во время дороги. Полковой молодой лекарь, почитая рану Аврелия в плечо не столь опасною, чтоб отсоветовать пуститься в дорогу, не

предвидел горячки и воспаления. Не доехав одной станции до дому, Поль принужден был остановиться в с. Нечаеве, чтоб дать хотя малейший отдых другу своему после езды в продолжении целого дня по самой тряской осенней дороге. Едва вынесли Аврелия из повозки в избу, жар и беспамятство обняли его. Поль не знал, что делать; с ними никого не было, кроме Павла дядьки Аврелия. Старик выплакал все слезы свои над барином, и наконец вспомнил, что должно искать помощи; поклонясь в ноги хозяину дома, он просил его посмотреть за барином своим, чтоб в бреду не разбередил он раны своей, покуда он съездит в Серпухов за доктором.

— Я буду смотреть за другом моим, сказал ему Поль.

Павел сел верхом и поскакал. Ночь была темная, город не близок; на половине пути догнал он карету, перед которою ехал провожатый с фонарем.

— Добрые люди! вскричал он, эта ли дорога в Серпухов?

— В Серпухов, брат! — отвечал ему кучер с козел; — а ты куда путь держишь?

— Да туда же!

— Попутчик! Ступай за нами.

— Нет, брат, вам ништо, а у меня барин умирает: еду за доктором.

— Тэк! ну как изволит; только, брат, смотри, по-ночи чорт ногу подставит, здесь дорога не гладь! А из какого, брат, села?

— Не знаю, приятель, из-под Малоярославца мы, проездом, верстах в пяти отсюда остановились.

— А что, брат, ушли французы?

— Не знаю, приятель! как ранили Аврелия Александровича, я света не взвидел.

— Да ты, брат, кто? — отозвался сидевший подле кучера усач в бурке и шапке.

— Слуга поручика Юрьегорского.

— Стой, брат, стой! — вскричал усач, вырвав возжи у кучера и остановив лошадей.

— Павел! это-ты?

— Я! Липин! куда ты?

— Где господа? мы за ними едем!

Шум разговора пробудил Савелия Ивановича.

— Приехали что-ли? — вскричал он, высуновшись из окна дормеза.

Ему рассказали про встречу с слугой Аврелия, и что они проехали уже деревню, в которой остановился Поль с другом своим.

После коротких расспросов и рассказов с той и с другой стороны, Павел отправился с проводником в город за Доктором, а дормез воротился.

Покуда счастливый случай сводил таким образом героев романа, Поль сидел над Аврелием, который в беспамятстве метался и в бреду говорил несвязные речи. За неимением свечей, заезженный кусок тряпки в плошке, наполненной салом, изливал печальный свет на бледного Аврелия и на черные стены избы, покрытые светящеюся копотью.

Аврелий не умолкал, что-то говорил про себя, иногда только произносил он громко мольбы и жалобы:

— Сбросьте с меня эту проклятую формулу!, она пожрала двойные и тройные буквы всех земных языков, она и меня хочет сжать своими железными скобами!.. Дальше, дальше! отодвиньте!.. Огнедышащее жерло земного полюса пышет! Смотрите, как сыплются бриллиантовые уголья, как реки металлов те-

кут в недра земли; а горы льдов, облегающих страшные уста её, искрятся, стоят вечною преградой для предприимчивого человека, желающего постигнуть тайну полюсов!.. О! сдуньте этот мрак, который разлучил мои взоры с образом Лидии; пусть свернется этот туман неведения в тучу и улетит в другой мир; пусть солнце осветит ее, и дыхание Лидии да будет благовонным эфиром, наполняющим пространства между частями вселенной!.. Вот, вот она!.. приветная как нежность, как ласка, как спокойствие души.... Вот она!..

Аврелий стал приподниматься с места, протянул обе руки, устремил очи на свет плоски.

Поль не в силах был удержать его одной рукою; он уже хотел позвать хозяина, как вдруг подле избы послышался шум, топот лошадей, и наконец денщик Поля Липин вытянулся подле дверей и произнес:

— Здравия желаю, Ваше Благородие!

В след за ним вошел Савелий Иванович.

— Племянник! — вскричал он и бросился обнимать Поля.

Дядюшка, пощадите меня, у меня рука ра-

нена! — вскричал Поль, едва переводя дух от неожиданной радости и от объятий Савелия Ивановича.

— А это кто растянулся на лавке? а?

— Тс! дядюшка, это мой сослуживец и друг Юрьегорский; он ранен и болен.

Тут дядя и племянник стали разговаривать тихо.

Между тем как Поль рассказывал дяде про свои походы, сражения и прочее, а Савелий Иванович, перебив его, стал в свою очередь рассказывать предположения свои насчет нового устройства мельниц, и о доходах, которые они могут принести, — стало уже рассветать. Аврелий время от времени произносил не связанные слова. Приехал городской лекарь из Серпухова. Раны и болезнь Аврелия нашел он опасными, но согласился, чтоб в этом беспомоществе перевезти его в поместье Белосельского. После перевязки ран больного перенесли в дормез, и все пустились в дорогу.

Еще было утро, когда дормез въехал на помещичий двор.

После долгого ожидания гостей, там все еще спали. Поль не велел будить даже Евге-

нии; но едва только внесли беспамятного Аврелия в предназначенные для него и для Поля покои, она проснулась.

— Братец приехал — вскричала она, взглянув на лицо своей горничной, и в несколько мгновений была уже готова, чтоб бежать к нему; но ей сказали, что после дороги братец уснул, а гость болен присмерти.

— Болен! Присмерти! — вскричала Евгения жалобным голосом. В первый раз румянец исчез с лица её. Она задумчиво села и замолкла.

Вскоре все в доме проснулись, и, в зале, сидя за самоваром, с нетерпением ожидали пробуждения Поля.

— Что с тобой сделалось Евгения? спросила ее мать её; — Ты верно нездорова.

— Нет, маменька, ничего, — отвечала Евгения.

Между тем как Савелий Иванович рассказывал встречу свою с племянником, со всеми мелочными подробностями, Поль с подвязанной левой рукою опираясь правою на костыль, вошел в комнату.

— Братец! — вскричала Евгения бросясь к

нему, и — рана Поля во второй раз потерпела от нежных, крепких объятий.

После радости, печали и слез, призванный Доктор должен был тысячу раз подтвердить, что раны Поля не опасны. На счет же ран Аврелия он оказывал сомнение, однако же надеялся.

— Вы такие добрые, Г. Доктор, — говорила ему Евгения, — Вы вылечите и братца и друга его.

В продолжении нескольких дней нельзя было бы описать беспокойства Евгении; то доктора, то брата спрашивала она про Аврелия. Ей хотелось взглянуть на него. Однажды, тотчас после обеда, Поль по обыкновению ушел в свою комнату, чтоб взглянуть на Аврелия, которого беспамятство еще продолжалось, вдруг двери полуотворились и голос Евгении произнес тихо:

— Братец, я сама принесла тебе кофий; можно войти?

— Войди, Евгения, только не стукни чем-нибудь, чтоб не нарушить сон больного; он в первый раз сего дня так спокоен. Не знаю, перед добром ли это?

Евгения, поставила кофий на стол, сложила руки, и став в отдалении от кровати Аврелия, вперила пристально на него очи свои, как будто заучивая бледные, но прекрасные черты молодого человека. На лице его было написано страдание, на закрытых очах его расстилались густые черные ресницы, уста его что-то произносили тихо, тихо; Евгения как будто прислушивалась к его шепоту... вдруг, вздохнул он глубоко, открыл очи, бросил взор на Евгению....

С испугом выбежала она из комнаты.

Аврелий преследовал ее глазами; по лицу его пробежал небольшой румянец.

Поль, видя, что он очнулся, подошёл к нему и спросил, как он себя чувствует?

— Тяжело спал я! но кто здесь был теперь? Поль, видел ты?

Сюда входила сестра моя, милый друг.

— Сестра твоя? Где ж она была?

— Ты теперь у моих родителей, в деревне; здесь ты как у родных, которые любят тебя, которые готовы предупредить твои желания.

— Хорошо Поль, — отвечал Аврелий; — А

ты видел Поль кто был здесь?...

Поль не отвечал на вопрос, заметя, что Аврелий снова впал в забывчивость.

Прошло еще несколько дней; положение Аврелия продолжало быть сомнительным. Что скажет тринадцатый день? говорил Доктор. Часто Аврелий, казалось, приходил в себя, и всматриваясь во все предметы, произносил:

— Поль, ты видел кто здесь был? — и потом опять забывался.

Евгения не смела уже входить в другой раз в комнату брата; неожиданный взор Аврелия врезался в её памяти, испуг остался в ней.

Несколько ночей сряду, с криком пробуждалась она и не выпускала от себя горничную.

Она утихла, не носилась уже беззаботно, шумно, по комнатам, но забывшись, иногда говорила шопотом и ходила на цыпочках, как будто опасаясь потревожить больного.

Настал тринадцатый день. После ужасного бреда, который напугал всех, Аврелий наконец умолк, впал в совершенную забывчивость, и после благотворного сна, все чувства

ожили в нем вместе с пробуждением. В первый раз он улыбнулся на ласки и заботы друга, и пожал ему руку.

— Теперь вы опять наш! сказал ему доктор.

Сильная болезнь поглощает часто привычную тоску сердца, проносит с собою тучи печальных воспоминаний; выздоравливающий смотрит на все светлыми очами, как будто перерождённый, как дитя всему радуется, снова ко всему привыкает, учится ходить; его кормят как младенца, смотрят, наблюдают за ним как за неопытным ребенком, чтоб не простудился, не устал, не остутился, не съел лишнего.

Чувства его оживают, и он спокоен, доволен всем. Ему не дают скучать, его рассеивают; но едва произнесено слово: он выздоровел, — внутреннее небо снова начинает затягиваться облаками, над сердцем собираются новые грозы.

Когда Аврелий мог уже оставить постелю свою, его навестило все семейство; даже больной хозяин прибрел и сел в приготовленные для него глубокие кресла.

Евгения, встретясь взорами с Аврелием, вся вспыхнула и опустила очи свои.

Савелий Иванович полюбил Аврелия от души, за то, что он слушал внимательно рассказ его: до какой степени совершенства дошло в несколько веков изобретение мельниц.

— Вы не поверите, говорил он, с каким трудом в старину добывали муку! как вы думаете? по горсточке толочь зерны в ступе, особенно там, где такое, например, семейство, как у нас! вы возьмите себе: вот зятюшка с сестрицей сам четверть, да я, да Анфиса Гурьевна, да горничных... сколько бишь... да! Акулина первой, Феня другой....

— Ох, Савелий Иванович! — перебивал нетерпеливо отец Поля, — ты уж пошел молоть! другим слова не дашь сказать! Да и то бы взять в голову, что больной требует покоя. Я сам по себе знаю — поверите ли Аврелий Александрович, вот уж десятой год бьюсь с обструкциями в боку; правду сказать, сам виноват: худо лечил Лихорадку; да что ж, батюшка, один говорит, что ежедневная, другой перемежная, третий бродячая, а я начитал в Лечебнике, что у меня все признаки благо-

приятной нервической, и стал употреблять клистиры. Да вот, десятый уж год страдаю; со всем отбился от хозяйства. — Завод рогатого скота без собственного присмотра немного попустился; никому в голову не придет, что новорожденного теленка должно немедленно отнять от матки, покуда не облизала; прежде года на траву не пускать; и что, в рассуждении оставляемых для завода телят, надлежит наблюдать, чтоб они не были перворожденные, да не были бы о двух пупках. Да, этого никому и в голову не придёт! Сколько ни говори, а без своего глаза плохая надежда!..

Трудно было Полю выживать старика и Савелия Ивановича от больного своего товарища. Гость, новый знакомец, в деревне у помещика, есть существо страдательное; на его несчастное, окованное приличием внимание, взваливают всю обузу пошлых событий, семейных и окольных; перед ним раскрывают домашний эрмитаж деревенских редкостей; показывают ему семейные портреты, чайный Китайский прибор, дедовскую чеканеную серебряную кружку, кольца, перстни, кусок окаменелого дерева, кусочек дресвы, принимае-

мый за золотую руду, самородный камень за окаменелость.... Много разных вещей показывают ему, а показ всех этих драгоценностей преследуется длинными рассказами: что значат они и как приобрелись. Потом водят гостя по конюшням, по сараям, по мельницам, по погребам, по псарням, по овчарням....

Потом начинается подчиванье редкостями и домашним производством: солеными груздями и рыжиками, арбузами, сливами, яблоками, огурцами, ветчиной своего копченья, крыжовником и малиной своего сажения, морошкой... и Бог знает, чем еще!

Всему рассказы, всему похвала, всему история, всему предание, всему поверье, всему приговор.

Все хвали, всему радуйся, всему удивляйся, перед всем ахай.

Все это испытал Аврелий, когда здоровье его поправилось. Прошла зима, настала весна, честь звала молодых людей на поле битвы; войска русские изгнали уже врага из пределов отечества и преследовали к границам Франции при каждом получаемом известии о победах, Поль и Аврелий роптали на судьбу,

что они не могут быть участниками русской славы. Их раны еще не позволяли им владеть конем и оружием; целый год срока положен был их терпению.

Пылкий Поль грустил более; ибо единообразная, домашняя жизнь в деревне ему уже давно прискучила; но Аврелий, как гость, обласканный как родной, в первый раз испытывал благо и спокойствие семейного счастья; по характеру своему он был к нему склонен, и если б не отголосок магического звука: Лидия, если б не воспоминание её образа и рокового события, то Аврелий предался бы вполне чувствам, которые красота и душа Евгении должны были поселить в сердце юноши. Евгения была неразлучна с ним, Евгения смотрела на него такими невинными, любящими взорами, Евгения так внимательна была к грусти его, так торопилась рассеивать ее ласками и вниманием. Все было для счастья Аврелия, кроме таинственности, которая окружала встречу его с Лидией, кроме несчастья, которое возвышало Лидию в глазах его.

Часто, задумчиво смотрел Аврелий на Евгению, забывая присутствие всего семейства;

в голове его носились вопросы: что разделяет меня с Евгенией? где моя воля? чем прикован я к Лидии, к видению?

Во время подобных раздумий Аврелия, лицо Евгении горело, очи её были опущены; она страшилась поднять их, чтоб не встретить взоров Аврелия, который, часто, забывшись не сводил с нее глаз своих. Анфиса Гурьевна гадала, шептала в колоду, раскладывала карты, посматривая на Аврелия и Евгению, и рассказывала заключения свои, и то что выходило на картах, на ухо помещице; улыбка матери и наклонение головы подтверждали заключения Анфисы Гурьевны и имели большое отношение к судьбе гостя.

Начинались даже тайные семейственные совещания, про которые однако ж не знала еще Евгения.

В заговоре был и Поль; уверенный, что друг его забыл уже сон о какой-то Лидии и предался чувствам более существенным, он вызвался испытать Аврелия; одно обстоятельство совершенно подтвердило мнение Поля.

Однажды вечер был прекрасен, Луна светила на ясном небе. Это был один из тех вече-

ров, которые проливают в душу что-то сладостное.

Евгения ходила с Аврелием по саду.

— Я устал, Евгения, — сказал задумчиво Аврелий, и, сев на дерновую скамью, прислонился к дереву. Евгения села подле него. Видя задумчивость Аврелия, она молчала, ожидала слов его; но и Аврелий молчал; глаза его закрылись.

Вдруг, после мгновенного шепота и нескольких невнятных слов, Аврелий произнес:

— Бедная девушка! являлось ли тебе привидение, у которого вместо очей под ресницами светились два мира, населенные богами; вместо сердца был символ любви; вместо души вечность; привидение, которое походило на пришельца с того света, которое дышало не жизнью, а бессмертием, которого речи были похожи на глагол времени?...

Видала ли ты его? Вообрази же, и это привидение вздыхало, и у него из глаз падали слезы.

О, ты бы любила его! потому что ты земная, а на земле нельзя не любить; потому что

ты раба вселенной, а во вселенной все невольно должно знать любовь; потому что ты искра, которая должна обращаться в пламень и возжигать сердца; потому, что ты женщина, и должна узнать, что такое жизнь; потому что ты дитя, которое плачет, не ведая само о чем, и понимает только томительную жажду!.. О, Бог над тобою, доброе дитя! Если б у меня в груди остался хоть призрак сердца, а в душе хоть тень воли, я бы забыл, что есть на земле привидение, которого мысли мои ищут повсюду, ищут напрасно, ищут как величину отрицательного количества!... Добрая девушка! скажи мне, где ты живешь?

Неужели там, где видна мне твоя наружная красота? О, нет, не верь! душа и тело — два врага, для которых один мир тесен; произнеси устами своими хоть одно слово, и сравни его с словом души: одно другому противоречат, как две силы мира.

— Аврелий!.. Евгения! — раздалось в алее. Поль приблизился.

— Что это значит? Евгения, ты плачешь? Аврелий, друг мой, что с тобою?... Аврелий, не стыдись друга твоего, я понял твое сердце;

пойдем....

— Поль! — вскричал Аврелий, очнувшись и опустив руку Евгении, которую он держал. — Поль! как тяжело!.. что-то давит грудь мою!..

— Успокойся, друг мой! ты в кругу друзей своих, в кругу твоих родных; они поймут скорбь твою, они облегчат ее. Евгения, дай мне руку свою. Пойдем Аврелий.

И Поль повел Аврелия и Евгению в дом; но Аврелий, чувствуя слабость, не входил в залу, удалился в свою комнату; Евгения также, жалуюсь на нездоровье, скрыв слезы свои, простилась со всеми и бросилась в постель.

Поль рассказал событие в саду своей матери.

— Они объяснились! — сказала она. — Теперь должно ожидать предложений.

И вот, пойдут ли прогуливаться, от Аврелия и Евгении все то отстают, то уходят вперед; начнет ли Аврелий с Евгенией разговор, или сядет играть с нею в карты, — все незаметным образом выберутся из комнаты, как будто уважая тайну, которую они должны поверить друг другу.

Все идёт по расчёту; решительная минута близка. Аврелий час от часу более и более привыкает к мысли, что Евгения, может составить его счастье; Евгения, внушаемая сердцем, довольна одним только присутствием Аврелия, не думает о судьбе своей; весела, счастлива, беззаботна. Вдруг, усилившаяся болезнь старика, требует средств решительных. Доктор советует везти его в Москву и сделать консилиум.

Общая печаль заставляет забыть Аврелия и Евгению. Собираются в Москву; Аврелий должен ехать с прочим, ибо он дал слово жить в семействе своего друга до совершенного излечения и отъезда в армию.

Кто выскажет грустное чувство Москвитян, возвращающихся в исходе 12 года на пепелище любимого Русского города, в котором лелеяли их родные обычаи, привычки, прихоти и предрассудки.

Слезы выступили на очах, когда издалека открылся взорам печальный вид погорелой Москвы. «Цело ли мое жилище?» — думал каждый, всматриваясь в лес черных труб, посреди которых возвышались, как и прежде, Иван Великий и шатер Сухаревой башни.

Два столба заставы, без шлагбаума, без часовых, стояли уединенно среди мрачной пустыни; удушливый смрад пожарища и тления поражал обоняние; холодный ветер свистел в развалинах; стаи хищных птиц носились в воздухе с торжественным криком: напитались они вдоволь, упились крови, прославляют пир Московский, оставляют родные леса, слетаются вить гнезда в трубах и развалинах.

Но не на долго помертвела Москва, возвратились её питомцы. Посреди улиц кипит уже

ярмарка; в шалашах, на лавках, на сундуках, на рогожах, на руках, на плечах, навалены, развешены разные товары, старые вещи, рухлядь; повсюду мелочный торг. Это расхищенные остатки собственности жителей, на которую права потеряны; это имущество бедных и богатых, украшения хижин и дворцов, наследство и достояние нескольких тысяч, перешедшие в руки первого бессовестного пришельца; он обложил себя чужим богатством и нищетою, и торопится сбыть с рук за все, что только носит название денег.

Тут сапожник торгует вещами галантерейными, будочник продает фарфор, нищий — часы и платье, торговка — золоченую мебель; мясник, свалил на рогожку, посреди грязи, целую библиотеку, и кричит: «Господин, купите Вольтера!»

Ученый роется в книгах как петух в навозе, ищет купить подешевле *de regum natura*; благовоспитанный класс скупает романы Дюкредюминия, Радклиф и немца Лафонтеня; просвещенные люди торгуют Расина, Корнеля, Мольера — в золотых переплетах, с картинками — украшение всех лучших

библиотек Московских до несчастного года.

Между Никольской и Ильинской, по Красной площади, ходят толпами старики купцы, возраставшие в Москве бороду свою до серебряных седин, а привычки до окаменелости. Оперевшись на костыли, со слезами смотрят они на погоревший Гостиный двор. Горькие слова воспоминания раздаются в устах их; они говорят о золотом времени, когда, сидя в лавках Ножевой линии, или Суконной, или Овощной, или Шапочной, или Ветошной, или Серебряной, или в Золотокружевном ряду, или в Затрапезном, или в Москательном, или в Старосвяточном, или в Живорыбном, они восклицали к проходящим, снимая шапки: Господин, пожалуйста сюда!

Погорели и магазины, и лавки, и лавочки, погорели ряды; не толпятся щедрые, скупые и безденежные покупщики; не толпятся безотвязные нищие, не ходят баклаги с сбитнем, кувшины с медом, лотки с свежепосоленной белорыбицей, паюсной икрой и калачами.

Близ Воскресенских ворот, по обычаю, толпятся приказные люди; стряпня их кончилась; ходят они со вздохом под мрачными

сводами бывших Палат, Управ, Правлений и различных судов; — повсюду пустота и навоз. Роются в оставленной, без призрения Архиве старых дел, вырывают, с горя, оставшуюся чистую бумагу из шнуровых книг и шелковые шнурки, скреплявшие целость и верность листов.

Где ясные доказательства просителей? где необходимые приложения просьб?

Тщетно ездит русской барин по Петровке... погорел приют скуки и рассеяния, куда, в известный час дня, стекались московские столпы постигать тайны европейской политики, бить карты, убивать время, рассеивать горе житейское, укрываться от капризов жен, от распрей семейных, сбывать доходы, съесть кусок по прихоти в тайне от доктора, встретиться с приятелем, ознакомить себя с людьми, выпить стакан зельцерской воды, соснуть сидя, проспав положенный час выхода и заплатить за это штраф.

Арбатская площадь осиротела. Где Театр — последнее прибежище ведьм, колдунов и русалок, Мифологических богов и Греческих героев? Где это поприще Калифов и Царей,

невинности и добродетели — на час?

Где Немецкий клуб, в котором от 15-ти до 50-ти все танст имд тансоот, а от 50 до ∞ все с умилением прихлопывает такту в ладоши и притопывает ногой.

Какая ученая душа смотрит равнодушно на развалины Университета? «Надобно восстановить его физически и нравственно: мы все учились в нем.... если не наукам, то, по крайней мере, Русской грамоте» сказал наш Карамзин.

О, в ужасном состоянии Москва!

Погибла на веки, в огне 1812 года, вся азиатская её неправильность и пестрота, узость и кривизна улиц, переулков и закоулков!

Пусто в Ендове, пусто на Красной и Вшивой горке и просто на Горке, пусто на Бабьем городке, в старых Воротниках, на Болвановке, на Листах, на Песках, на Хохловке, на Пупышах, на Куличках — пусто и в Сапожках!

Китай город, Белый город, Земляной город, обнимают собою груды камней и пепла.

Каменный пояс Кремля, подаренный ему В. К. Иоанном Васильевичем, разорван. Иван Великий без креста, без подпоры, опален

взрывом, треснул от негодования, и сам прозвонил всеми своими колоколами благовест о возвращении в Москву её детей.

Серебряный вечевой колокол Новгорода прозвенел, отозвался в краины русские.

Слыхали ли вы, как тоскует горлица и плачет чибис над разрушенным гнездом своим?

Видали ли вы запустение на том месте, где царствовала великолепная народная жизнь?

Чувствовали ли вы запустение в душе своей, когда от разрушенных надежд, от невозвратных потерь, от сгоревших зданий мечты, оставались в чувствах ваших тяжелые груды развалин и пепла?

Бежали ли вы когда-нибудь от вулкана, который заливал губительною лавой вашу родину?

Помните ли вы то, что останется в памяти веков и народов, как новый всемирный потоп, — среди которого русской ковчег боролся с волнами Океана, но уцелел хранимый Провидением, и остановился на высотах Монмартра?

Это все было и прошло, и я снова стою в Кремле близ Царя-пушки, которая с лишком

три столетия смотрит на события Московские, которая видела бунты Стрелецкие, видела Софию, видела Лжедмитрия, видела Годунова, видела Черное знамя Великокняжеское, за которым шла вся Русь на Куликово поле за своею славой и честью. Видела казнь девяти самозванцев, видела бунты народные, моровую язву, голод, пожары, крамолы и распри....

О, если б уста её говорили, много чудес рассказала бы она нам!

О, Москва, Москва! доброта твоя признана целым светом; ты умеешь ценить таланты и бесталанность, умеешь глазеть на лубочные комедии и качели; умеешь тянуться гремучею змеей под Новинским, на Трех горах, в Сокольниках и в Марьиной роще; умеешь тесниться в Кремле, на Тверском бульваре, на Пресненских прудах, в Дворцовом саду и в Гостином дворе в дешевый Понедельник; умеешь кричать фора! всякому скрипачу, возводишь на амвон и баса и тенора, и дисканта и заграничную фистулу; умеешь говорить по-Французски как Французенка, читать за 30 рублей в год всю Французскую, а за 5 всю Русскую литературу; ты надеешься, что у нас по-

вятятся скоро, свои гении, ты соревнуешь просвещению, покупая каждого Русского сочинения до пяти экземпляров для своих частных библиотек.

Ты Москва и приветлива, и гостеприимна; на тебе все есть и природные красоты, и румяны, и белила, и фижмы, и парики, и удушающие корсеты, и все золотое, прозрачное, бисерное, мишурное, золоченое и чугунное; ты и перегоняешь моды, и отстаешь от них целыми столетиями; ты сыплешь золото и копишь медь.

Ты добра Москва! ты проста Москва!

Еще ты Русская Москва; в тебе есть и сайки, и сбитень, и горячий калач, и икра паюсная и свежепросольная, и рыба животрепящая, и уха стерляжья, и мед, и пиво, и в Сундучном ряду клюковный квас, и щи медвяные, и кулебяки, и душегрейки— красные девушки; слышны и видны еще, не в счет абонементов, Русские пляски и песни; водятся в дивертисментах и хороводы.

Есть в тебе живая и мертвая вода на Остоженке; есть богатыри в Грановитой Палате и добрые молодцы на толкучем рынке и на фаб-

риках.

VI

Вид Москвы напоминал что-то страшное Аврелию. Смутные, забытые воспомина- ния возрождались в нем. Аврелий пасмурен, мрачен, задумчив, убегает от Евгении, уходит из дома, скитается по пустынным, погорелым улицам, как изгнанник, или беглец, и кажется ищет убежища; где бы можно было скрыть- ся от сожаления людей, чтоб не спросил кто- нибудь словами, или взором нежного уча- стие: что с тобой, Аврелий? Не болен ли ты? не постигло ли тебя несчастье, измена, небла- годарность, проклятие отца? — Не преступ- ник ли ты? Не раскаяние ли мучит твою со- весть? Или безнадежная страсть разгромила сердце твое, и оно, как голубь, бьется истекая кровию? — Скажи мне, Аврелий, открой мне свою душу; доверенность, как слезы, утишает горе, мирит нас с судьбой!

Когда самонадеянная душа борется с го- рем, тогда она отвергает участие, как предла- гаемую помощь, которой гордость её не в со- стоянии принять. В таком положении был

Аврелий. Как будто отыскивая прежние следы свои, иногда шел он, устремив очи в землю, и вдруг, останавливаясь, смотрел кругом себя, возвращался, или продолжал идти вперед, выходил за заставу, в поле, и стоял там безмолвно, сложив руки, как памятник над прошедшей своей жизнью. Но даже Евгения не замечала перемены, произошедшей в нем со времени приезда в Москву. Она и все семейство не отходили от постели умирающего старика — и вскоре надели траур. Для убитой печалью Евгении, необходимо было присутствие Аврелия — потеря отца сильно подействовала на нее; только слова Аврелия утешали её отчаяние. И он не мог оставить ее: ему поручили утешить скорбь Евгении, и она сама просила его не удаляться от неё.

И Аврелий забыл собственное страдание; слезы Евгении, казалось, залили тлеющее его сердце; оно сжалось от сожаления, а мысли искали слов чтоб утешить ее. Внимательно слушала Евгения, когда он говорил: «Успокойтесь, Евгения! к чему отчаяние? оно недостойно вас. Мы не должны расточать вдруг тоски своей о невозвратной потере, чтоб после не

упрекнуть себя в забвении её. Закон разума и сердца учит нас неизменной любви к памяти о тех, которые передали нам жизнь на сохранение; и мы обязаны беречь жизнь, потому что она принадлежит не нам одним, а ряду поколений, которые были до нас и которые будут после нас. Мы должны передать ее потомству в чистоте и целостности, а не разрушенную, не зараженную тлением.... А для вас, Евгения, есть еще прекрасная, высокая цель жизни вы так совершенны, вы составляете счастье семейства, вы составите счастье человека, которого наградит судьба вашей любовью...».

Аврелий не взвешивал слов, которые говорил для успокоения Евгении он говорил их с дружеским чувством, как однокровный её, или как огорченный, который ищет в мыслях своих и собственного утешения. Но Евгения, когда он произнес последние слова, вздохнула глубоко, отерла слезы и устремила взор свой на него, как будто ожидая слов еще более приятных, более сладостных для души своей.

Ожидание её не исполнилось: Аврелий

умолк.

— Аврелий, скажите еще что-нибудь! — произнесла она тихо, взяв его за руку, чтоб вывести из задумчивости, в которую он впал.

И Аврелий очнулся, вздохнул глубоко; мысли его растерялись, он не знал, что говорить.

И Евгения готова была повторить слова Аврелия, которые он говорил для её утешения.

Настал час похорон; утишенное отчаяние Евгении возобновилось с большею силою. Почти без чувств провожала она гроб отца своего на кладбище, и придерживаемая Аврелием, стояла подле могилы, обливаясь слезами; а он, бледный, обводил смутные взоры по памятникам, смотрел на церковь кладбища — и трепет пробегал по его членам.

— Аврелий, вы все дрожите! — произнесла тихо к нему Евгения.

Он не отвечал.

Священник прочитал уже последнюю молитву, провозгласил вечную память, бросил горсть земли в могилу; все последовали его примеру; могильщики принялись за работу; в

эту минуту общих горьких слез, Поль шепнул на ухо Аврелию: Посмотри, друг мой, на эту незнакомую, задумчивую девушку, которая, в черном платье, стоит по ту сторону могилы и горько плачет, как будто в этой могиле погребено и её счастье.

Аврелий взглянул, и вдруг глухой, перерванный звук, подобный болезненному стону, вырвался из его груди. Он зашатался.

— Что с вами, Аврелий? — произнесла Евгения взглянув на него.

Что с тобой, друг мой? — вскричал Поль, удерживая его от падения.

— Лидия! — произнес наконец Аврелий мрачным, глухим голосом, обводя неподвижными очами обступивших его и вырываясь из рук Поля.

Громкое восклицание раздалось в толпе по другую сторону могилы.

— Братец, что это значит? чье имя произнес твой друг? — сказала Евгения тихо, взяв Поля за руку, и преклонив голову свою к плечу его.

— Лидия! — повторил Аврелий отчаянным голосом, и вдруг, вырвавшись из рук Поля,

окинул взорами толпу присутствовавших, и бросился в след за девушкой в черной одежде, которую вели под руки в дом священника.

— Братец! — повторила Евгения слабым голосом, — и он понес ее на руках в карету.

Все с ужасом и недоумением торопились ехать; остался только Поль, чтоб узнать о своем друге.

Евгения, как заснувшее дитя, с крупными слезами на розовых щеках, лежала на руках своей матери. Анфиса Гурьевна сидела напротив их и нарушала печальное молчание во время пути аханьем и разговором самой с собой. На счет случившегося она придумала всевозможные заключения. Припоминала свои гадания про Аврелия, и догадалась, что Лидия есть та трефовая неизвестная дама, разлучница червонной, и всегда ложившаяся в голову марьяжного короля. Аврелий погиб в мнении Анфисы Гурьевны на веки; Лидия была в глазах её менее и ниже всего на свете.

— Статочное ли это дело! — восклицала она — выводить такой казус, при людях, да еще в каком месте!

Когда привезли Евгению, и она пришла в

себя, слезы хлынули из её очей какое-то болезненное чувство, неизвестное прежде, овладело ею; слово: Лидия, отзывалось в её сердце и терзало его. Напрасно мать, Анфиса Гурьевна и Савелий Иванович утешали ее: она просила всех удалиться, оставить ее одну.

— Что с тобою, мой Ангел? — повторяла мать её.

— Соблазнитель!... Статочное ли дело, сводить с ума ребенка! шептала про себя Анфиса Гурьевна.

— Да полно же, племянничка, голубок! — говорил Савелий Иванович. — Не век рваться да плакать; слезами не воротить; что ж делать! Бог даст ему царство небесное. Примером сказать про себя: я лишился отца по второму годку, да и тут не предавался отчаянию; а ты, племянничка, уж невеста, на примете есть женишок....

— Оставьте меня, дядюшка! — вскричала Евгения, и рыдания её усилились.

— Ну, Бог с тобой! — продолжал Савелий Иванович, выходя из комнаты. — Я говорил, чтоб не возить ее на кладбище и оставить со мной дома! Валандайтесь теперь с ней!...

VII

Поль, оставшийся на кладбище, вбежал в дом Священника, и нашел, что сам он и жена его, стояли подле кровати, на которой лежала беспмятная девушка. Долго Поль смотрел на нее; забыл обратить внимание на положение Аврелия, который стоял на коленях, приложив уста к опущенной руке девушки, и повторял её имя, как будто вызывая ее из беспмятства.

Отозвав Священника в другой покой, Поль просил его рассказать: кто такая эта девушка в черном платье, и каким образом очутилась она на кладбище?

— Ах! Сударь, — сказал Священник, — этот ангел доброты и кротости живет у меня более уже полугода, по странному случаю. Видите ли, вовремя нашествия французов, я оставался здесь. Чего мне, думаю, бояться их? ищут смерти человеческой, придут ли искать в гробах костей человеческих? — «День отмщения, — гласит Иеремия, — отмстит врагам нашим и пожрет их меч Господень!» — В одно утро, сотворив молитву, я вышел из дома сво-

его, чтоб взглянуть на пожарище; вдруг, вижу сидит на могиле эта девушка и горько плачет. Я подошёл к ней, благословил ее, позвал к себе в дом и утешил скорбь её о потере отца и матери, словами священного писания: «аще бо веруешь яко Иисус умре и воскресе, тако и Бог умершие во Иисусе приведет!» — а как сама спаслась она от гибели и очутилась здесь, того не помнит; говорит только, что какой-то добрый человек защитил ее от французов и был при смерти отца её и матери, но он скрылся не известно куда. У отца её было поместье в Смоленской губернии, но по болезни, она не могла ехать туда до сей поры... И она такая жалостливая! Как привезут на кладбище покойника, она и плачет над могилой, как по своем родном. А теперь, Бог весть, что приключилось! Господин офицер, родной её, или жених, как узнал ее, да назвал по имени, а она так и грохнулась было оземь: вообразись ей, что покойная родительница зовет ее к себе в могилу...

— Кажется приходит в себя, — сказала тихо вошедшая жена Священника. — Тс, тише! как он жалок! Слышите, как он зовёт ее?

— Не братец ли, сударь, это ваш? Как он любит бедную барышню!... — продолжала жена Священника, обратясь к Полю.

— Это тот, который спас ее от французов и вынес из пожара — отвечал Поль.

— Не уж-ли! — вскричала добрая женщина. — Ах ты моя радость! А она так грустила по нем — думала, что и он погиб вместе с её родителями! Тс, постойте, постойте! я прислушаюсь....

— Лидия, узнаете ли вы меня? — раздался голос Аврелия. — Помните ли вы того, которому поручил вас умирающий отец ваш; который оторвал вас от праха матери и вынес беспамятную из Москвы, чтоб спасти от огня и чудовищ; но оставил вас, сам не зная где, увлеченный собственным беспамятством; помните ли вы его Лидия?...

— Тс! слышите ли? она что-то говорит, — прошептала жена Священника. — Ничего не слышно! чу!

— Лидия, вы не забыли меня! Повторите же еще раз слова ваши.... Я искал вас; но я думал, что вы были сновидение!... Какое страшное время прошло для меня с тех пор!... Не

удивляйтесь же словам моим!... Я встретил вас, я вижу вас, — я боюсь, чтоб снова не потерять вас!... Во мне замирает сердце, стынет душа от боязни!... Я уже думал видеть вас только за гробом и искал своей могилы посреди битв.... И я вижу вас, я слышу слова ваши, и вы помните, что отец ваш завещал мне ваше спокойствие! О, пусть кто-нибудь скажет мне, что я живу!... Пусть кто-нибудь уверит меня, что это блаженство, не острое железо, которым снова судьба поразила меня без пощады!... Не верю, не верю вот... вот она исчезает снова.... Темнота стелется передо мною.... Лидия, Лидия!...

И в след за сими словами раздался пронзительный вопль Лидии.

Поль, Священник и жена его вбежали с ужасом в комнату.

Аврелий лежал на полу; из перевязанной руки его, сквозь зашнурованный рукав, струилась кровь из открывшейся раны.

Бледная, безгласная Лидия, стояла перед ним на коленях, сложив руки, как дева умоляющая о спасении.

VIII

Не много дней прошло; но отец Аврелия, уведомленный Полем об опасном положении сына, въезжал уже в Москву, которая, через полгода после нашествия Французов, возрождалась из своего пепла.

Коляска, запряженная почтовыми лошадьми, остановилась на Дмитровке подле ворот дома, занимаемого Белосельскими. Почтенный старик вышел из коляски. В чертах его заметно было, что жизнь учила его любви, терпению и правилу, что снисходительность нужнее всего для людей. При помощи двух слуг, он взобрался на крыльцо и, обняв встретившего его Поля, сказал:

— Вы любите моего сына; дружба ваша принадлежит и мне; у меня с Аврелием нет раздела.

— Не удивляйтесь, что не видите здесь моего друга, — сказал Поль, вводя старика в свою комнату, — по обстоятельствам, его теперь нет в моем доме....

Старик переменялся в лице.

— Молодой человек! — сказал он, — Вы пи-

сали ко мне, что сын мой болен.... Вы были другом его; следы печали, которую я замечаю во всех чертах ваших... может быть, Аврелия уже нет на свете!... Признайтесь... я привык к невозвратным потерям!...

Стараясь произнести эти слова твердо, голос старика дрожал.

— Вы ошибаетесь в вашем заключении, — отвечал Поль, — печаль моя происходит от потери моего отца и от болезни сестры моей. Но я напрасно теряю слова; вы уверитесь лучше собственными глазами, — моя коляска готова; я только что хотел ехать к Аврелию.

— Поедьте скорее к нему, — сказал успокоясь старик; но торопливость его показывала еще недоверие к словам Поля.

Дорогою Поль стал рассказывать ему все, что слышал от своего друга.

— Понимаю, — сказал старик, выслушав чудные встречи Аврелия с Лидией, — Он любит этот призрак! Покрывало на лице женщины действует сильнее красоты; препятствия и таинственность рождают безумные страсти! Я вижу, Аврелий опустил уже руку в урну судьбы. Бог ведает, черный или белый жре-

бий вынет он из неё! — Я не воспротивился бы его желаниям: его счастье есть собственное мое счастье; но кто такая эта чудная девушка? Кто знает жизнь и душу её?...

— Я знаю её! — вскричал, вспыхнув Поль, — потому что я изведаль её одним взглядом. Это одно из тех существ, с которыми сравнивают все совершенства женского пола.

— Дай Бог, чтоб чувства Аврелия и ваши не обманулись также, как мои некогда. — сказал, вздохнув отец Аврелия.

Между тем, коляска пронеслась по большой Дмитровке, мимо Страстного монастыря, мимо Тверских ворот; дома малой Дмитровки также остались позади её, столбы заставы мелькнули, стук колес умолк, густая пыль торной загородной дороги взвилась тучей, обдала коляску, кони понеслись быстрее; но ветер отвеял тучу и пред очами открылась церковь и ограда кладбища.

— Боже милосердый! — вскричал старик и весь затрепетал. Дрожащим голосом произнес он:

— Молодой человек! ты жестоко поступил с слабым стариком!... Злобно приготовил ты

душу его к печальной вести!... Безбожно насмеялся ты над сердцем отца!... Страшно отмстил ты на мне вражду свою к моему сыну!... Хитро осушил в груди моей слезы, которые я пролил бы над могилою Аврелия!...

И старик закрыл лицо свое руками.

Слова его неожиданно поразили Поля.

— Не понимаю вас! — произнес он в ответ ему. — Аврелий ваш здесь, вы сейчас же увидите его....

— Увижу! — вскричал старик, выскакивая из коляски, которая, въезжая в ворота кладбища, остановилась. — Увижу! — продолжал он. — Покажи мне его могилу: я разрою ее своими руками и благословлю его союз с землею.

— Куда вы! вскричал Поль, удержав старика, который бросился между рядами памятников и крестов.

— Ваш сын жив, он здесь у Священника этой церкви, продолжал Поль, сжав отца Аврелия в своих объятиях.

С трудом пришел он в себя, и, слабого, освежившего сердце свое слезами, ввели его в дом Священника.

Поль потел вперед предупредить друга своего о приезде его отца. Он нашел в его комнате Лидию и все семейство Священника. Аврелию было гораздо лучше; рана его закрылась. Он сидел довольный, спокойный, счастливый; взоры его были обращены на Лидию, которая что-то рассказывала.

Приход Поля прервал её слова; она отерла слезы, упавшие из небесных глаз её, как роса на розовый листок.

— Мой друг! сказал Поль, сжимая руку Аврелия, я уверен, что приятная неожиданность не повредила тебе, и ты в состоянии будешь встретить гостя, близкого твоему сердцу и нетерпеливо желающего тебя видеть.

— Поль! — произнес Аврелий, смутясь и взглянув на друга испытующими взорами. Не ожидая отца, он вспомнил об Евгении и холодный пот выступил на лице его.

— Близкий твоему сердцу, приехавший из далека, продолжал Поль.

— Не отец ли мой! — вскричал Аврелий. — Где он?...

Добрый старик не вытерпел, услышав голос сына, вбежал в комнату.

Отец и сын упали друг другу в объятие. Пролетел тихий ангел; он видел слезы свидания, видел смущение Лидии и потупленные её очи, видел, как Поль, прислонясь к стене, смотрел на Лидию и глубоко вздохнул. Дружбе или любви принадлежал этот вздох, Поль сам не знал этого.

— Аврелий! — произнес наконец старик, — познакомь меня с твоими хозяевами. Благо-расположение к сыну обязывает отца быть признательным. — И он обратился к Священнику и его семейству, и благодарил за данный приют больному его сыну. Взглянув на Лидию, он понял, что и она гостя в этом доме. Её очи были скрыты черными длинными ресницами, голова наклонена, смущение благородно, красота полна души, душа полна красоты.

— Аврелий, — продолжал старик, — я просил тебя познакомить меня со всеми.

— Батюшка! — отвечал Аврелий прерывающимся голосом, — от вас зависит мое счастье!... Лидия, — продолжал он, взяв Лидию за руку, назовите моего отца и своим отцом....

Старик понял слова сына и смущение Ли-

дии, не ожидая ответа её, он подошел к ней.

— Я вас увидел, — сказал он, — и благословил выбор Аврелия. — Не откажитесь быть моею дочерью; и мне останется желать, чтоб любовь вата заменила вам прежнее счастье ваше и потерю родителей!...

Из очей Лидии брызнули слезы; в очах старика выступили также слезы. Он обнял сына и невесту его; сложил руки их, поднял глаза к небу и замолк. Сердце его теплилось, душа молилась.

Священник и жена его прослезились также от умиления. Они были стары, были добры и любили смотреть на счастье людей.

Поль как прикованный стоял на том же месте, и не сводил очей с невесты друга своего. Он был молод и пылок; а другой Лидии, другой женщины, такого же точно ангела — нет на свете.

— Святой отец, — сказал старик, — благословите и вы детей моих, да не расторгнет ничто, кроме смерти, союза их!... Обручите их этими двумя кольцами.

Он снял с руки своей два кольца и продолжал:

— Пусть вечное согласие их сотрет на одном из этих колец память о преступлении!...

Старик отер свои слезы и надел кольца на руку Аврелия и Лидии.

Священник облачился. Прочел молитву обручения. Разменял кольца Аврелия и Лидии....

Поль, как преступник, прикованный к стене, опустил очи и тяжело вздохнул, когда раздался поцелуй жениха и невесты.

IX

Как дивен мир, как чуден мир! В мире есть счастье, в мире есть рай, есть ангелы, есть все в мире, когда душа человека светла, а на сердце радость.

Тогда-то дикая пустыня, дремучий лес, темная полночь, обращаются в приют блаженства; тогда-то сердце находит во всем отражения своего счастья: в дремучем лесу звонкую песнь соловья, в пустыне — мирное уединение и голубое небо, в темноте ночи — тишину, во всей природе — согласие с собственными чувствами....

Но если душа утратит радость, а скорбь

привьется к сердцу— тогда, все сбрасывает радостную одежду, все стонет, все плачет, небо покрыто тучами, в пустыне воет ветер, в мраке носятся привидения, в дремучем лесу стонет филин, ропщет горлица, злые духи повсюду сеют печаль, поливают нашими слезами, и весь мир порастает тернием и вся жизнь бесплодна!

Скоро радость возвратила совершенно силы Аврелию, и он с отцом своим и с Лидиею отправился в её наследственное поместье в Смоленской губернии.

Едва Лидия вступила в родительский дом, воспоминание возмутило её душу, слезы покатались из глаз; она приклонилась к плечу Аврелия, и они вышли в сад.

Утешения любви так могущественны, ласки так успокаивают чувства, осушают слезы, уносят душу в светлый мир настоящего!

— Обойми меня, Лидия! Еще несколько часов пройдет, и ты будешь моей Лидией! — сказал Аврелий, склонясь на дерновую скамью под густой липою, обнесенною цветником, и сажая Лидию подле себя.

— Судьба вознаградила] меня с избытком

за мои страдания! — продолжал он. — О, как хорош мир, когда все красоты его сливаются в одно существо, и это существо подле сердца! когда вся цель жизни соединена в тебе, Лидия!

— Верить ли мне вполне чувствам своим? Не новый ли это сон? дивный сон! Не мечта ли? но мечта, которая лучше жизни, перелезающей из планеты в планету!... Твои очи, Лидия... взгляни на меня!... о, это взор, который проникает до границ неба, точно также, как проникнул в мое сердце!... Скажи что-нибудь, Лидия... одно слово!... чтоб я поверил своему слуху!... Слышу... это голос, который из хаоса образовал во мне новый мир, дивный мир... населенный блаженными чувствами!...

— Слышу... это слово отделило во мне свет от тьмы! — Лидия, обойми меня! я твой, ты моя!... Что ж разлучит нас? — Ничто в мире, потому что я твой, а ты моя! — Повтори эти слова, Лидия — сладкое мое сновидение!... Я не проснусь, Лидия; только одна смерть разбудит меня!...

И Аврелий сжал в пламенных своих объ-

тиях Лидию, и щеки Лидии загорелись.

— Дети мои! — вдруг раздался голос отца Аврелия. — Дети мои! — повторил он задыхающимся, мрачным голосом.

Аврелий и Лидия бросились на встречу старику, а он, безгласный, бледный и трепещущий, упал в их объятия и крупные слезы скатывались по лицу его, на котором, изображалось страдание.

— Дети, дети мои! — повторил он наконец, опамятовавшись, — идите за мною.

— Что с вами, батюшка? — едва произнес встревоженный Аврелий.

Лидия повторила эти слова с трепетом.

Старик вел их за собою; вошли в дом; в гостиной остановился старик, сжал снова в объятиях Аврелия и Лидию, и бросив взоры на портрет женщины, который висел на стене, вскричал:

— Аврелий! Лидия! — это портрет вашей матери!

Настало страшное молчание. Аврелий и Лидия, как убитые, приклонили головы к груди старика, а он обливал их слезами.

Х. 1814 год

Знаете ли вы, читатели, что такое Париж? — Вы думаете, что это город, столица какого-нибудь царства? — Ошибаетесь! Это трущоба нечистой силы, это храм Ямантаги, дивного бога — символа человеческого существования; это омут в море страстей; это отрицательный рай, отвлеченное блаженство, биржа понятий, торговля новостей, пародия жизни.

Там ходят на ходулях, рассуждают сердцем, любят умом, смотрят сквозь призму, чувствуют по формулам, живут на счет жизни, умирают для бессмертия, созидают памятники прошедшему для украшения и выгод настоящего, стремятся на свет, чтоб обжечь крылья.

Там, для посетителей хаотического города готовы более тридцати лучших и более сотни посредственных гостиниц, где предлагаются для гостей, за деньги, — теплынь, нега и роскошь царская; и даром: *plait-il monsieur?*

Там, любители театра, родился новый театр, в 1548 году, когда Парламент позволил

играть *mystères profanes honnêtes et licites*, sans offenser ou injurier autre personne. Там более 30 театров и все в партере и в ложах, и все на сцене.

Там 30 славнейших рестораций, и несколько сот посредственных, обязанных своим происхождением прошедшему веку, и Г. Буланже, который написал над дверями своего дома: *Yenite ad me omnes qui stomacho Iahoratis et ego restorabo vos*, — и угощал всех свежими яйцами, соленой дичью и крепким наваром.

Там есть 30 лучших кофейных, обязанных введением своим, при Людовике XIV, Солиману Аге.

Там есть Китайские бани и Пале-Рояль, в котором вы всегда найдете несколько сот Муз, несколько тысяч Граций.

Там раскроют пред вами все роды таинств, и вы узнаете, каким образом природа переходит от прозябаемых к животным, от животных к людям....

Там, если б вы были, читатели, в 1814 году, в Апреле месяце, в огромной зале Пале-Рояля, видели бы вы двух Русских Офицеров, во фраках. Они сидели около огромного банкового

стола, гнули углы, транспорты, плиэ — просто и на выворот, кричали attdndez! ставили мазу, рвали карты, а все-таки им не везло.

Один из них, чист и ясен как сокол, встал уже со стула, хотел склонить паруса от золотой Харибды, но товарищ удержал его.

— Погоди-же не много, Гастфер: успел проиграться, успеешь уйти; я не отстану от тебя. Смотри: последний куш, последние крохи! Чего их жалеть; надо же как-нибудь расплатиться с Парижем. Мы здесь гости! к чему нам деньги!

— Ну, так и быть, подожду, посмотрю, как убьют короля, attdndez! отвечал Гастфер.

— У этого народа нет ничего святого. Так и есть! — вскричал Офицер вставая с места, оттолкнув от себя несколько червонцев, стоявших на карте.

— Ну, теперь пойдем, Гастфер, к нашему полковнику: пора обедать. Чорт знает: выигрываешь — в горло ничего нейдет; проиграешься в пух — откуда возьмутся голод и жажда!

— За то до следующей трети расходы наши кончены; и я очень рад — меньше заботы. У

меня престранной характер: когда нет денег, на душе веселее!

— Странное дело! со мной тоже бывает. От чего это? вопрос важный, психический! — Нет денег — откуда явится аппетит; откуда возьмётся огонь в душе, здоровье, живость, сон, беззаботность, легкость, доброта: даже грубость и глупость пьяного денщика не сердят!

— Однако же, любезный друг, в этот раз я проклиная всех Фараонов на свете. Я сбирался сего дня в Grande-Opera и проиграл по их милости все деньги. Сегодня все Цари будут в театре! — Пропустить такое событие: — значит воротиться домой гусем.

— Вот большое горе! Я в Париже по сию пору ничего не видел и не надеюсь видеть. Что ж делать, братец? право, не было времени! В Hôtel d'Angleterre где я стою, роскошь: встанет в полдень — принесут шоколаду, кофию; не успеешь протереть глаз, — несут завтрак; не успеешь проглотить куска, идет ординарец от генерала — служба! День и прошел! а на вечер в Пале-Рояль. А теперь без денег что здесь увидишь! Ей Богу, братец, не знаю, что де-

лать! На днях выступаем отсюда; воротится в Россию — шапками забросают! Как! быть в Риме и не видеть Папы!

— Мой совет избавит тебя и от труда, и от стыда. Ступай за несколько су в Панораму: там увидишь Париж со всеми подробностями.

— Спасибо за совет.

*Совет твой дивен и велик,
Я следую ему отныне:
Довольно все узнать из книг
И все увидишь на картине.*

Продолжая таким образом разговоры, господа русские офицеры приблизилось к Hôtel de l'Empire, вошли на широкую лестницу, вступили в коридор, подошли ко второму номеру, отворили двери.

— Ну, сказал Гастфер, опоздали мы! дым столбом! верно отобедали и принялись уже за трубки и за карты.

— Не бойся, друг, на столе все еще в порядке.

— А! — друзья! вскрикнули несколько человек офицеров, увидев входящего Гасфера и его товарища.

Все сидели с трубками в зубах вокруг на-

крытого стола и, обдавая дымом друг друга, хохотали во все горло.

— Что это значит, господа? На чей счет гуляете вы? — спросил Гастфер.

— На чей счет? — браво! очень кстати вопрос! — Не подумай только, что на счет французов; нет, *finita è musical!* гуляем на счет своего пустого кошелька.

— Да говорите яснее! Вскричал Гастфер.

— Что-ж тебе говорить? Есть у тебя деньги?

— Полноте, господа, я вижу, вы гуляете на мой счет. Вам забавно, что я продулся!

Общий хохот преследовал слова Гастфера.

— Поздравляем! верно в надежде съесть после проигрыша славный контрибуционный обед? — Садись же, вот твой прибор. Ей! Савельев, подай трубку господину поручику! Затянись и потом запоем с горя круговую:

*Друг за другом,
Все мы кругом,
Понемножку станем петь.
Пой, пой, пой,
Друг за мной!*

— Нет, господа, отвечал Гастфер, моя пер-

вая песня всегда:

*Я наелся как бык
И не знаю, как быть!*

— Сего дня можешь спеть ее и натошак!

— Натошак не пою: берегу голос, отвечал

Гастфер.

Между тем денщик Савельев поднес ему трубку.

— Пошёл ты к чёрту с трубкой! Давай водки!

— Еще не выкурили, Ваше Благородие! отвечал плут денщик.

— Что за шутки, господа! вскричал Гастфер.

— Какие шутки, мой друг: истинная правда! Шутку сыграли с нами гостеприимные Парижане. Видишь ли, ты в чем состоит история: По обыкновению, мы собрались к обеду по обыкновению, хозяйский Maître d'hôtel накрыл на стол, по обыкновению мы сели и, вдруг, против обыкновения принесли нам на блюде огромный счет за все прошедшее время и объявление: что гг. генералитет и русские офицеры имеют за все платить и впредь

без денег ничего не требовать; а сверх того от хозяина уведомление, что сегодня у него ничего не готовлено.

— Я наелся как бык и не знаю, как быть! — пропел Гастфер. — Этому горю должно пособить, — продолжал он. — Если ни у кого из вас также нет денег, то я отправляюсь доставать.

— Вот, благодетель! вскричали все.

— Идите все в Hôtel de Paris, гуляйте, а я сейчас же приду выкупать вас.

— Да где ты открыл колодезь, из которого можно черпать золото?

— Этот колодезь у ротмистра Юрьегорского в кошельке.

— Что-ж ты, братец, не познакомить нас с чудачком, у которого всегда водятся деньги?... Он играет?

— Я наелся как бык и не знаю, как быть! с пропел Гастфер. — Этому горю должно пособить, — продолжал он. — Если ни у кого из вас также нет денег, то я отправляюсь доставать.

— Вот, благодетель! вскричали все.

— Идите все в Hôtel de Paris, гуляйте, а я

сейчас же приду выкупать вас.

— Да где ты открыл колодезь, из которого можно черпать золото?

— Этот колодезь у Ротмистра Юрьегорского в кошельке.

— Что ж ты, братец, не познакомить нас с чудачком, у которого всегда водятся деньги?... Он играет?

— О нет! это дивной малой, да убит горем; он был влюблен в одну девушку, готов был идти с нею к венцу, только что же?...

— Ну, знаю, романист, страдалец; верно невеста умерла, а он с горя копит деньги?

— Ох нет!

— Ну, заболела? Но что нам за дело до его жизни! Ступай, Гастфер, бери у него деньги, а мы выпьем за здоровье его невесты по дюжине бокалов! — Ступай, ступай!

— Ступай! — повторили все и, надев Гастферу на голову шляпу, повели его под руки с лестницы; на улице снова раздалось хором: — Ступай, ступай, наш кормилец! и толпа Офицеров рассталась с Гастфером.

XI

— Где твой барин? — вскричал Гастфер, вбежав в комнату Юрьегорского. Что ты воешь, Павел?

— Батюшка сударь! — отвечал старик, — Барин пропал!... Аврелий Александрович пропал!... Ни слуху, ни духу!... Может по-ночи разбойники французы где-нибудь в закоулке убили!...

Старик залился горькими слезами.

— Что ты говоришь? — вскричал Гастфер. Каким образом пропал? Может ли это быть?

— Да, в ночь; с вечера, вот принесли из полковой канцелярии письмо; он читал, читал его, и Бог знает сколько раз читал, а в ночь и пропал!

Гастфер взял письмо, развернул и читал мельком: «Милый друг и брат мой Аврелий! давно не получаем мы от тебя писем... Это истомило нас; мы не знаем, что думать о тебе.... Если-б ты мог, приехать.... Пора забыть прошедшее! Тебя обманули не люди, а судьба! — Чувствую, что ты можешь думать, что она избрала тебя орудием моего счастья; но не поза-

видуй мне, раздели со мною все привязанности нашего общего семейства; в кругу его ты можешь найти всю полноту чувств любви и дружбы. Аврелий, приезжай! Лидия жаждет обнять тебя; другая Лидия протянет к тебе ручонки и назовет тебя дядя! — У нас только и разговора, что про тебя. Сестра моя Евгения с нами; она и Лидия так любят друг друга, что я не в силах тебе описать того чувства, которое я испытываю, смотря на их взаимную привязанность. Истинная дружба двух женщин должна быть очень редка, мой друг, ибо....

Но Евгения много изменилась; в ней исчез этот пыл жизни; в шестнадцать лет она начинает жить воспоминанием. Когда ты увидишь ее, ты сам пожалеешь о том румянце, который умер не поцелованный любовью...»

— Вот тебе и раз! — вскричал Гастфер, бросив письмо на стол. — Надо же быть такому несчастью! — А мне была нужда до твоего Барина! — Нечего делать! — Прощай, старик, да не плачь! О чем ты плачешь?... Найдется, не пропадет!

И Гастфер скрылся.

XII. Москва

В огромном кабинете покоился, после тучного обеда, Московский Барин, в колпаке, в пикетовом белом халате; он лежал на кушетке, пыхтел — ему было жарко. Карлик — бедное существо, обмеренное судьбою — стоял подле него и отгонял опахалом, из разноцветных перьев, несносных мух, которые вились над красным лицом его господина.

Кабинет был украшен огромными картинами в золотых рамах мраморными столиками и хитрой работы шифоньерками, на которых стояли вазы этрусские, вазы японские, перламутровые раковины, обделанные в золото и серебро, эмалевые табакерки разной величины и фигуры, с музыкой, с поющею колибри, с тайными пружинками, которые придавливались хозяином только для коротких друзей и приятелей; — Были в кабинете и огромные куранты которые искусно заводил сам барин а вертел слуга; — был в кабинете и шкаф с коллекцией трубок пенковых, каменных, голландских, деревянных, изрезанных всевозможными изображениями; — была и

библиотека, только не для чтения; был и письменный стол, на котором писал слуга-писарь, а подписывал сам господин.

Крепко спал московский барин: его измучило утро торжественного праздника, его отяготил тучный обед; он устал как четверка коней, на которых он делал визиты; он сделал сорок визитов во всех концах первопрестольного града; он был у Князей и Графов, у людей титульных; ибо сам был богат, но еще не титулен, должен был лично развозить свое почтение к знатности и чинам.

И так, он крепко спал, долго бы спал, если б стоящий над ним карлик, вооруженный опахалом, не вздремнул и не пропустил на барина стаю неотвязчивых мух. — А мухи бывают различного свойства: Есть мухи злые кусачки, с страшным, длинным, непощадным жалом, есть мухи с хоботом, мухи с насосом, мухи певни, мухи вьюны, и наконец добрые и глупые мухи, которые почти всегда попадают в паутину, жгут себе крылья на свече, тонут в супе, в чае и во всех жидкостях. Мухи доброго и глупого свойства живут между людьми среднего и низкого состояния, там, где нет в

дверях швейцара и где двери может отворить домовая кошка или собака; там им житье, воля, раздолье; все члены человеческого тела, пища и все в их распоряжении; но мухи злые-кусачие, одаренные от природы ловкостью и острым жалом, избирают преимущественно, как рыцари древних времен, подвиги трудные, проникают в спальни, в будуары, в гостиные, в кабинеты знатных господ; — хитро пробираются сквозь опахала и увертываются от нежных рук и хлопущек.

Таким образом барин спал; вдруг, одна из таковых мух, называемая на Хохлятском языке: ах ты бисова дочка! налетела на спящего, и так укусила его в губу, что он фыркнул, плюнул, хлопнул себя по лицу, вскочил, бранится...

В Палембанге, на острове Суматре, есть обыкновение, чтоб раб говорил с барином языком благородным, а господин с слугой употреблял простонародное, низкое наречие; в подражание этому обыкновение наш барин, взглянув на стоящего пред ним карлу, заговорил самым низким языком.

Трепещущий карла молчал, ибо молчание

есть самый красноречивейший и высокий язык.

— Ванька! — вскрикнул наконец Барин.

Явился в дверях огромный Ванька.

— Посади тюленя на шкаф!

Карла бросился в ноги, но напрасно.

Ванька подхватил его, взбросил на шкаф.

На лице карлика изобразилось точно такое же страдание, какое изображается и на лицах обыкновенных людей: верно он понимал, что карла также человек; верно сердце его было как голова не по росту; но Барин знал его за карлика, за свою потеху — за мальчишку; а карлику было 45 лет от роду.

Заклучив карлика на вершину шкапа, Барин оделся, вышел в гостиную.

Гостиная была уже полна, — а пожилая, разряженная хозяйка, сочетавшая свое имение и увядший свой цвет с вожделенным здоровьем мужа, сидела на диване как на троне. Гости, в ожидании виста, перелистывали новости Московские.

— А-а-а! произнесли все увидя входящего хозяина.

И он сталь приветствовать гостей своих.

— Позвольте же мне продолжать, — вскричала резким голосом дама, сидевшая подле хозяйки. — Послушайте, Валерьян Васильевич.

— Извольте, сударыня, что угодно приказать, — отвечал хозяин, садясь.

— Вы знаете, Лонова?

— Слыхивал.

— Вы знаете, что он ухаживает за Евгенией...

— Знаю, знаю! вскричал сидевший против дамы старик в бархатных сапогах. Евгения Белосельская *c'est ma voisine, ma vis-à-vis*; признаюсь, вам откровенно, что я во всю жизнь не видал приятнее лица!... *diable! quoique je ne suis pas Mr Lonoff mais...*

— Помилуйте, попасть в такое семейство! Я думаю вы слышали скандалёзную историю этого дома?... и что же Евгения? девушка, влюбленная без памяти в человека, который, сманил дочь какого-то Священника, которую потом бросил и на которой женился брат её.

— Этого я не знаю; это клевета.

— О, что это не клевета, я могу вас удостоверить подробностями этой истории. Изволь-

те слушать, — вскричал хозяин дома.

— Вот, примером сказать, я и вы, Князь, воспитывались бы вместе, положим хоть в институте, или гимназии Сделайте одолжение — перервал Князь важно, — не берите меня в пример публичных воспитанников: я, сударь воспитывался дома, и не знаю никаких обыкновений школьных.

— Как угодно, Ваше Сиятельство! Ну я возьму в пример кого-либо из отсутствующих, положим Снорского, с которым я действительно учился в Харьковском Университете.... Да не о том дело.

Таким образом Юрьегорский и Белосельский вместе учились, кажется здесь в Москве, наверно не знаю; вот, когда вышли они из училища... да, нет! виноват, Юрьегорского просто выгнали из училища за шалости и за стихи на Пресненские пруды, точно! Как выгнали его, как ему быть?

Тогда набирали Мамоновский полк — он туда определился....

— Как это скучно! как ты мямлишь, мой друг! — вскричала хозяйка.

— Позволь же, мой друг, рассказать по по-

рядку! И так, вот видите ли, полк должен был идти в поход, а наш молодец, влюбись в дочь какого-то Священника. Надо вам сказать, что его приняли прямо Офицером, чего в другое время не случается... Вот, например, я сам служил до Офицерства восемь лет юнкером в Старо-Ингермаландском полку... Девушка молоденькая, необразованная, мундир приглянулся— влюбилась по уши, — ушла от отца....

— Вообразите, себе! — вскричали некоторые дамы с ужасом; — ушла с молокососом!

— Что ж удивительного? — возразил старик в плисовых сапогах. — У женщин один выход в чины, один путь — что называется — в люди: выгодно и по сердцу выдти за муж. А наш брат в 18 лет порох; *vous savez messieurs*, что значит 18 лет! Я сам в эти года чуть-чуть не женился на горничной девке моей матушки: *diable! cette fille avoit des intentions très nobles!* плутовка уговорила меня бежать, с нею обвенчаться!... О это презабавная история! *ma foi! il falloit trop de caractère*, чтоб в 18 лет не сойти с ума от пятнадцатилетней хорошенькой девочки!

Конечно, князь, молодые лета есть... я не

знаю, как и выразить это, потому что в молодости не то что в преклонных летах....

Валерьян Васильевич сказала хозяйка дома, — позволь мой друг, докончить рассказ Федору Петровичу; сделайте одолжение Федор Петрович, вам известна эта история, и вы так прекрасно говорите, так владеете языком.... Признаюсь, я редко слыхала подобную способность.

— С величайшим удовольствием! воскликнул тучный мужчина с огромными бакенбардами. Я готов рассказать и рассказать вкратце, потому что в краткости и ясности заключается истинное красноречие, они владеют вниманием слушателей. Исполняя желание Алены Алексеевны, я должен предупредить, что в происшествии, которое я буду рассказывать есть истинно трогательные места. Сердце человеческое играет великую роль в жизни: поистине, оно есть Океан, в который впадают все земные истоки. Слабость сердца имеет и хорошую и дурную сторону; что ж делать! так создан человек! — и так начнем! Лично я не знаю Юрьегорского, но знаю из верных рук, что он был всегда восторженный

до безумия.... Влюбившись в Лидию, дочь одного Священника, как уже сказал Валерьян Васильевич, он увлеченный страстию, извлек несчастную девушку из объятий отца и матери, и не знал, что с нею делать; ибо на другой день назначен был поход.

Должно заметить — прервала хозяйка, — что Лидию, нынешнюю жену Белосельского, дочь Отца Гурья, называли прежде Анфисой.

— Наверно не знаю, — продолжал Федор Петрович, — но знаю то, что Юрьегорский, встретив брата Евгении, старого своего соученика, с отчаянным видом сочинил историю: что у него на руках сестра, и что он не знает где ее оставить, отправляясь в поход. Радужный Белосельский взялся устроить дело; он познакомил друга своего с отцом и матерью, и Лидия была принята как родная в доме Белосельских. Юрьегорский отправился в поход; увлеченный новыми победами, забыл он скоро о мнимой сестре своей. Прошел год, другой — ни слуху, ни духу. Между тем Белосельский влюбляется в Лидию; красота этой девушки действительно была очаровательна. Два года, проведенные в хорошем кругу, обра-

зовали ее, как всякой может заметить, кто видит ее теперь в обществе.

Ну, это замечание ваше довольно ложно! — возразила одна почтенная дама.

И очень ложно! — подхватила хозяйка. — Кто родился в лучшем кругу, тот на всяком шагу заметит в Лидии привычки низкого происхождения.... Но продолжайте.

— И так Белосельский влюбился, не зная о её прохождении; долговременное отсутствие Юрьегорского и вести, что он ранен, сошел с ума, и тому подобное, изгнали из неё старую любовь, и, Белосельский встретил в ней взаимность. И кто ж не извинит в подобном обстоятельстве сердце девушки?

И особенно — прибавила хозяйка, кинув насмешливый взгляд на старика в плисовых сапогах, — зная, что для женщин один путь в люди: выгодное замужество.

— *Ainsi-soit il!* — произнес старик.

Федор Петрович продолжал:

— До сих пор, как вы изволите видеть, происшествие заключало в себе довольно комического; наступает драма. Усвоив взаимность Лидии, Белосельский объявляет отцу и мате-

ри, что он хочет жениться на ней. Это поразило отца и мать; они даже хотели выгнать Лидию из дома; но Белосельский предупредил их и тайно обвенчался с нею. Любя сына, они должны были простить его; но это обстоятельство стоило больному отцу Белосельского жизни. В след за свадьбой похороны. Никто не предвидел ужасного происшествия. Представьте себе все семейство, стоящее над могилою отца! бросают уже на гроб землю, Священник читает вечную память, вдруг раздаётся подле могилы вопль, знакомый голос поражает Священника, он взглядывает на Лидию, упавшую в обморок при виде отца своего, и, молитва старика прерывается словами: дочь моя! дочь моя!

— Это ужасно! ужасно! произнесли все слушатели.

Федор Петрович остановился; он наслаждался тем, что красноречивый рассказ его произвел во всех содрогание.

— Вот плоды самоволия детей! произнес он наконец, и продолжал голосом, трогаящим до глубины сердца:

— Старый Священник забыл все, забыл ме-

сто, покойника, обязанность, сан свой, бросился к дочери, выхватил ее из рук Белосельского и понес на руках в дом свой. Белосельский, в испуге, бросился за ним; мать и сестру его Евгению отнесли на руках в карету, увезли домой. Священник слышать ничего не хочет, смотрит на Белосельского как на соблазнителя дочери, хочет подавать жалобу; но этого мало: в тот же самый день новая беда Юрьегорский приезжает с своим отцом в дом к Белосельскому — и с каким намерением, как вы думаете? — с тем, чтоб взять Лидию и жениться на ней. Он уверил отца, что спас Лидию во время Французов, что она сирота, ангел доброты и красоты, и живет в доме Белосельского под именем его сестры. Отец поверил. Приезжают. В доме страшная суматоха, слезы. Каково же любовнику слышать, что его возлюбленная вышла уже замуж и узнана своим отцом?, и каково отцу Юрьегорского слышать упреки в поступке сына, который ввел в честный, благородный дом неизвестную девушку и был причиной несчастья целого семейства?!...

— Ужасно, ужасно! повторяли все, которые

слышали в первый раз в рассказе Федора Петровича это происшествие.

— Этого мало, — продолжает Федор Петрович. — Юрьегорский с отцом скачут в дом к Священнику. Преступная! говорит Юрьегорский входя в комнату, где Священник, разжалобленный Белосельским и дочерью, обнимал уже своего зятя.

— Преступная! повторяет Юрьегорский, кинув страшный взор на Лидию.

Она падает в обморок. Белосельский онемел; Священник хочет уже проклинать дочь свою, видя нового претендателя на нее: ибо он не знал того, что настоящий похититель её есть Юрьегорский. Кровавым образом кончилась бы эта история, если б не благоразумие отца Юрьегорского; он видел недоумение и требовал объяснения от сына и от Белосельского; и объяснением всего обстоятельства примирил друзей. Юрьегорский, видя, что долгое молчание и ложные слухи были всему виною, простил Лидию и друга своего; но это обстоятельство расстроило его раны. Несмотря на это, он тотчас же ускакал в армию; но, говорят, помешался и.... я не верю слухам,

будто бы он теперь в Москве, и что еще чуднее: вознаграждает прежнюю любовь свою рукою Евгении, сестры Белосельского, смертельно в него влюбленной.

— Какие чудеса! Но скажите пожалуйста, чем же кончилась история с Священником?

— Вот чем, — продолжал Федор Петрович. — Белосельский, зная, что он убьет свою мать, если откроет кто такая Лидия, умолил старика Юрьегорского признать ее своею дочерью. Общими силами они уломали и Священника отказаться от прав отца в обществе, но пользоваться ласками дочери только в тайне. Вот вам и вся история!

— И я имел терпение выслушать эти сплетни! — произнес, хлопнув руками и схватив шляпу, один молодой человек. — Я, который знаю так коротко Лидию, дочь покойного Смоленского помещика Ивельского, я, который знаю все семейство Юрьегорского, знаю все семейство Белосельского! И я не скажу, что это все бабьи сплетни!

Скорыми шагами вышел он вон из залы.

Все с удивлением смотрели в след за удалившимся молодым человеком.

Это обожатель Лидий! — произнесла презрительно хозяйка. — Он помешался на её баснях о самой себе!...

— Батюшка-барин, простите моего жениха! — вскричала карлица, подбежав к хозяйкину дома.

Но хозяин дома был зол: то, чему он верил, как свету дня, назвали сплетнями.

— Ванька! — вскричал, он, — посади и дурю на шкаф.

Ванька подхватил карлицу на руки и понес вон.

Гости захохотали....

Биография

ВЕЛЬТМАН, АЛЕКСАНДР ФОМИЧ
(1800–1870)



Русский писатель, историк, фольклорист. Родился 8 (20) июля 1800 в Петербурге, сын шведского дворянина, в 1786 принявшего российское подданство. Учился в Благородном университетском пансионе, в 1816 окончил пансион братьев Терликовых, в 1817 — Московское училище колонновожатых. В

1818–1830 служил в Бессарабии военным топографом. В Кишиневе сблизился с В.Ф. Раевским и А.С. Пушкиным (высоко ценившим юмористические стихи Вельтмана, высмеивающие кишиневское общество, — Воспоминания о Бессарабии Вельтмана, частично опубликованы в периодике 1837 и 1893; Вельтман изобразил Пушкина в рассказе Илья Ларин, 1847, и повести «Не дом, а игрушечка!», б.г.). Был свидетелем греческого восстания 1821; получил орден за храбрость, проявленную в русско-турецкой войне 1828–1829. Увлёкся изучением археологии, этнографией и историей края, опубликовал многочисленные научные и научно-популярные работы (Начертание древней истории Бессарабии, 1828; О господине Новгороде Великом, 1835; Аттила и Русь IV и V в., 1858; Первобытное верование и буддизм, 1864, и др.). С 1831, выйдя в отставку в чине полковника, жил в Москве. По протекции М.Н. Загоскина стал помощником директора, с 1852 — директором Оружейной палаты. С 1854 — член-корреспондент Академии наук.

Оправдывая характеристику современника, филолога и этнографа И.И. Срезневского

(«добр, прост, окружен книгами, непрерывно работает, чем и живет»), Вельтман издал за 40 лет литературной работы огромное количество произведений. В их числе романтические поэмы Беглец (1825), Муромские леса (1831; Что затуманилась, зоренька ясная из нее стала народной песней), драмы Ратибор Холмоградский (1841), Колумб (1842), Волшебная ночь (1844, по мотивам Сна в летнюю ночь У. Шекспира), роман Странник (ч. 1–3, 1831–1832) — одно из лучших творений Вельтмана, где писатель, иронически обыгрывая приемы известных литературных путешествий (Л. Стерна, Ксавье де Местра и др.), совмещает подлинность фактографии с комической условностью, а реальные описания — с воображаемым, по географической карте, путешествием («Итак, вот Европа! Локтем закрыли вы Подолию...») и, переходя в калейдоскопической непоследовательности от прозы к стихам и обратно, дает редкий образец «романтически-лирического повествования» (Ю. Манн). Интерес к славянской старине, сплав исторических и мифологических элементов национального сознания, при явной идеали-

зации патриархального бытия, отразились в романах Кащей Бессмертный (1833), Светославич, вражий питомец. Диво времен Красного солнца Владимира (1835), в повести Райна, королева Болгарская (1843), а также в разворачивающемся на фоне Отечественной войны 1812 романе Лунатик (1834). Размышления о прошлом и будущем человеческой цивилизации явились основным импульсом к созданию «экспериментальных» фантастических романов МММСДXLVIII год. Рукопись Мартына-Задека (1933) и Предки Каломероса. Александр Филиппович Македонский (1836), в которых доминирует мысль о вечном повторении, круговороте общественных структур, человеческих пороков и заблуждений, нравственных и умственных исканий. Критики усматривали поверхностную сатиру на Наполеона в романе Вельтмана Генерал Каломерос, в романах же Виргиния, или Поездка в Россию (1837), Новый Емеля, или Превращение (1845), повестях Эротиды (1835), Аленушка (1836), Ольга (1837) и др. — апологию «простодушного», невольно разоблачающего фальшь и лицемерие «цивилизованного» общества

(стойкая традиция европейской литературы). Наивному и чистому «простаку» Вельтман противопоставляет расчетливого прагматика, цепкого и хваткого «делового» человека (повесть Карьера, 1842) из того буржуазно-«накопительного», чиновничье-бюрократического мира, который был решительно чужд сентиментально-славянофильскому духу Вельтмана и который писатель обличал в манере как иронически-фантастической, полусказочной (роман Сердце и думка, 1838), так и реалистической (повести Неистовый Роланд, др. назв. Провинциальные актеры, 1835; Приезжий из уезда, или Суматоха в столице, 1841; романическая эпопея Приключения, почерпнутые из моря житейского, кн. 1–4, 1846–1864, в которой особенно выделяется первый роман, Саломея). Приключения — самое известное и масштабное произведение Вельтмана, где выведено более ста представителей разных сословий, демонстрирующих с позиций превосходства «старинных нравов перед нынешними» (В.Г. Белинский) вырождение аристократии, моральное разложение купечества, алчность и цинизм промышленников, деграда-

цию мещанства. Характерный для художественного мира Вельтмана сплав бытовой конкретности в описании антуража и отдельных образов с условностью сюжета, приводящей к мистификациям и недоразумениям, проявился в романах Чудодей (1856), герои которого случайно «поменялись» судьбами, Воспитанница Сара (1862) и отчасти Счастье-несчастье (1863). «Экспериментальные» произведения Вельтмана, полные загадочных, фантастических и сказочно-потусторонних персонажей, авантурных приключений, анекдотических неурядиц, насыщенные каламбурами, эпатирующие гротеском и многокрасочной стилизацией, вызывавшие и признание («оригинальный игривый талант»), и критику («археологический мистицизм»), в силу переизбыточности, неправдоподобности, утомительной многословности его повествования не стали классикой отечественной словесности. Однако, во многом опередив свое время, они оказали влияние на Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова, П.И. Мельникова-Печерского и далее на И. Ильфа, Е. Петрова, М.А. Булгакова, Вс. В. Иванова, Е.Л. Шварца. Заслу-

живает упоминания и литературно-просветительская деятельность Вельтмана, в т. ч. как составителя несколько раз переизданной книги Начальное чтение для образующегося юношества (1837), автора вызвавшего интерес Пушкина стихотворного перевода Слова о полку Игореве под назв. Песнь ополчению Игоря... (1833), переводчика фрагментов древнеиндийского эпоса Махабхарата и средневекового германского героического эпоса Песнь о Нибелунгах. Энциклопедическая образованность, ум, такт и терпимость писателя способствовали тому, что в 1830-1860-е годы дом Вельтмана был одним из известных в Москве литературных центров, где собирались люди самых разных профессий, политических, философских и эстетических направлений и взглядов, от убежденных славянофилов до радикальных «западников» (М.П. Погодин, В.И. Даль, В.Г. Белинский, Ф.И. Буслаев, А.И. Герцен, Ф.Н. Глинка, Н.В. Гоголь, Г.П. Данилевский, Ф.А. Кони, М.С. Щепкин, В.Ф. Одоевский, А.Н. Островский и др.). С 1850 активное участие в литературной жизни Вельтмана принимала известная в свое время беллетристика

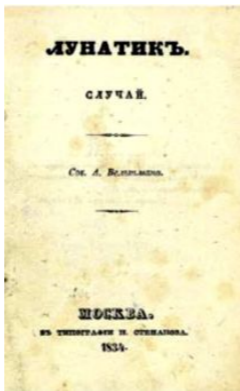
(исторические и семейно-бытовые повести и романы) и просветительница (Азбука и чтение для первого возраста, 1862) Елена Ивановна Вельтман (ум. 1868), вторая жена писателя.

Умер Вельтман в Москве 11 (23) января 1870.

Энциклопедия Кругосвет

Библиография издания

Вельтман, Александр Фомич (1800–1870).
Лунатик: Случай / Соч. А. Вельтмана. Ч.
1–2. — Москва: Н. Глазунов, 1834. - 2 т.



* * *

На обложке фрагмент картины: «Зарево. Замоскворечье» Василия Верещагина.

Примечания

По-польски: обнял.

[^^^]

Электронное
литературно-художественное издание

ЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ПРИКЛЮЧЕНИЙ

XXXIV

ПРИКЛЮЧЕНИЯ • ПУТЕШЕСТВИЯ • ФАНТАСТИКА

